ГЛАВА I. **ЧЕЛОВЕК ЗЕМЛИ**

Доктор Роберт Стэдлер мерил шагами свой кабинет, кляня холод. Весна в этом году припозднилась. За окном мертвенная серость холмов выглядела естественным переходом от грязноватой белизны неба к свинцовой черноте реки. Время от времени небольшой участок одного из далеких склонов вдруг становился серебристо-желтым, даже зеленоватым, но практически тут же цветовое пятно исчезало. Облака, узко рассеченные солнечным лучом, вновь сходились, отсекая его от земли.

«Дело не в том, что плохо топят, — думал доктор Стэдлер. — Холодно делается от вида за окном».

«Сегодня не такой уж мороз, — продолжал думать он. — Просто за зимние месяцы холод до такой степени накопился в костях, что пришлось прервать работу, отвлечься на бытовые проблемы, вроде плохого отопления, и разговоры о необходимости экономии топлива».

«Это нелепо, — думал он. — Природа все больше влияет на людские дела. Раньше такого не было и в помине».

Даже если зима выдавалась более суровой, чем обычно, если прорвавший дамбу поток смывал участок железнодорожного полотна, людям не приходилось две недели есть только консервированные овощи. Если молния попадала в силовую подстанцию, такое учреждение, как Государственный научный институт, не оставалось без электричества на целых пять дней.

«Пять дней бездействия, — думал он. — Остановившиеся двигатели, обесточенные приборы, безвозвратно потерянные часы, которые его сотрудники могли бы потратить на познание тайн Вселенной».

Он в сердцах отвернулся от окна, на мгновение замер, вновь повернулся к окну. Не хотел смотреть на книгу, которая лежала на его столе.

Он взглянул на часы. Ну и где же этот доктор Феррис? Доктор Феррис опаздывал, удивительное дело, опаздывал на встречу с ним. Док-

тор Флойд Феррис, лакей от науки, который всем своим видом выказывал готовность извиниться за то, что может снять перед ним только одну шляпу.

«И эта невероятная для мая погода, — думал Стэдлер, глядя на реку. — Конечно же, именно погода, а не книга так испортила мне настроение».

Книгу он положил на самое видное место, и когда понял, что даже смотреть на нее не хочет, то начал испытывать к ней не просто отвращение, а еще и другое чувство, признавать которое не хотелось. Он убеждал себя, что подняться из-за стола его заставила не лежащая на нем книга, а желание размяться, согреть замерзшее тело. Он кружил по кабинету, между столом и окном. И уже решил, что отправит книгу в корзину для мусора, где ей было самое место, сразу же после разговора с доктором Феррисом.

Взгляд его вновь задержался на пятне солнечного света и зелени на склоне далекого холма, обещании весны в мире, который выглядел до сих пор так, будто в нем уже никогда не вырастет трава, не распустятся почки. Его глаза радостно вспыхнули, а когда луч погас, он почувствовал укол острой тоски. Ему так хотелось, чтобы яркое пятно не пропадало, а наоборот, ширилось, захватывая всю землю. Он вдруг вспомнил интервью, которое этой зимой брал у него известный писатель. Писатель приехал из Европы, чтобы написать о нем статью, и он, который всегда терпеть не мог интервью, говорил много и долго, слишком долго, увидев перед собой интеллектуала, в отчаянной надежде, что тот сумеет донести до читателей свои мысли. Статья вышла. Писатель расхваливал автора, как мог, попутно исказив до неузнаваемости все идеи. Закрывая журнал, Стэдлер испытывал те же чувства, что и сейчас, когда облака в очередной раз разделили солнце и землю.

«Хорошо, — размышлял он, отворачиваясь от окна, — я должен признать, что иногда приступы одиночества одолевают меня; но я *обречен* на такое одиночество, это жажда ответной реакции живого, думающего разума. Я так устал от всех этих людей, — думал он с пренебрежением и горечью. — Я исследую космические лучи, а они не могут справиться с последствиями грозы».

Он почувствовал, как дернулись губы, словно пощечина запретила ему подобные мысли, и уже смотрел на книгу в сверкающей суперобложке, опубликованную лишь двумя неделями раньше.

«Но я не имею к ней никакого отношения!» — мысленно крикнул он себе, и крик этот, казалось, растворился в безжалостной тишине. Ничто не ответило на него, даже эхо, подтвердившее бы его слова. На

суперобложке красовалось хлесткое название: «ПОЧЕМУ ВЫ ДУМАЕТЕ, ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ».

Ни единого звука не раздавалось в безмолвии его сознания, напоминающем тишину зала судебных заседаний, там не звучали ни слова жалости, ни голос защиты, оставались лишь абзацы, которые впитала в себя его блестящая память. «Мысль — примитивное суеверие. Здравомыслие — иррациональная идея. Наивная убежденность в том, что мы способны думать, — ошибка, которая обошлась человечеству дороже любой другой».

«Мысли, которые вроде бы возникают в вашей голове, — иллюзия, создаваемая железами, эмоциями и, судя по последним данным, содержимым вашего желудка».

«Серое вещество, которым вы так гордитесь, не более чем кривое зеркало в парке развлечений, от которого вы не получаете ничего, кроме искаженных сигналов из недоступной вам реальности».

«Чем больше ваша уверенность в собственных умозаключениях, тем выше вероятность того, что вы ошибаетесь. Ваш мозг — инструмент искажения: чем он активнее, тем сильнее создаваемое им искажение действительности».

«Титаны мысли, которыми вы так восхищаетесь, когда-то учили вас, что земля плоская, а атом — мельчайшая частица материи. Вся история науки — длинная череда вскрытых ошибок, а не достижений».

«Чем больше мы знаем, тем острее осознаем, что мы ничего не знаем».

«Только самые невежественные все еще держатся за принцип: что вижу, тому и верю. Увиденному нельзя верить в первую очередь».

«Ученый знает, что камень — вовсе не камень. Фактически он ничем не отличается от пуховой подушки. И то и другое — объемное образование невидимых, вращающихся частиц. Но, скажете вы, камень нельзя использовать как подушку? Что ж, сие лишь доказывает вашу беспомощность перед лицом истинной реальности».

«Последние научные открытия, скажем, выдающиеся достижения доктора Роберта Стэдлера, окончательно продемонстрировали, что наш разум не способен охватить природу Вселенной. Эти открытия позволили ученым выявить противоречия, сосуществование которых, согласно человеческим представлениям, невозможно, но в реальности они существуют. Возможно, вы об этом еще не слышали, мои дорогие, отставшие от жизни друзья, но уже доказано: рациональное и есть безумное».

«Не рассчитывайте на причинно-следственную связь. Есть только противоречия всему остальному. Нет ничего, кроме противоречий».

«Не ищите *здравый смысл*. Поиски *смысла* — критерий бессмыслия. В природе смысла нет. Его нет ни в чем. Если кто и пытается найти *смысл*, так это усердные юные «синие чулки», которые не могут завести бойфренда, и ретрограды-лавочники, думающие, что Вселенная столь же проста, как перечень имеющихся в лавке товаров да любимый кассовый аппарат».

«Давайте разобьем цепь предрассудков, именуемую логикой. Неужели нас остановит силлогизм?»

«Итак, вы думаете, что уверены в собственном мнении? Ни в чем нельзя быть уверенным. Вы собираетесь поставить под удар упорядоченную жизнь вашего городка, дружбу с соседями, положение в обществе, репутацию, доброе имя и финансовую безопасность… ради иллюзии? Во имя миража? Вы готовы идти на риск и обращаться в суд в столь опасное время, как наше, противопоставляя себя существующему общественному порядку, отстаивая те воображаемые представления, которые вы называете своими убеждениями? Вы говорите, что уверены в своей правоте? Правого нет и быть не может. Вы чувствуете, что в окружающем вас мире что-то не так? У вас нет возможности это знать. Для человеческого глаза все не так… и чего с этим бороться? Не спорьте. Принимайте все, как есть. Приспосабливайтесь. Повинуйтесь».

Книгу написал доктор Флойд Феррис, а опубликовал Государственный научный институт.

— Я не имел к этому никакого отношения! — отчеканил доктор Роберт Стэдлер. Он все еще стоял у стола, и у него возникло неприятное ощущение, будто он на какое-то время отключился и теперь не знал, как долго был неподвижен. Слова эти он произнес вслух, с едким сарказмом, адресованным тому, кто заставил его их произнести.

Он пожал плечами. Смеяться над собой — не грех, а пожатие плеч являлось эмоциональным эквивалентом высказывания: «Ты — Роберт Стэдлер, так что не уподобляйся школьнику-неврастенику». Он сел за стол, отодвинул книгу в сторону.

Доктор Флойд Феррис опоздал на полчаса.

— Извините, но мой автомобиль сломался по пути из Вашингтона, и у меня ушло чертовски много времени, чтобы найти человека, который смог его починить. Машин на дороге становится все меньше, и половина ремонтных мастерских закрылись.

В голосе преобладало раздражение. Доктор Феррис сел, не дожидаясь приглашения. В любой другой профессии он бы не мог претендовать на успех, но доктор Феррис выбрал науку, и его всегда называли «этот

симпатичный ученый». В свои сорок пять лет, при шести футах роста, ему удавалось выглядеть выше и моложе.

Одевался он с иголочки, двигался с грацией танцора, но вольностей в одежде себе не позволял, отдавая предпочтение черному и темно-синему. Над верхней губой темнела аккуратная полоска усов, и институтские остряки утверждали, что волосы у него такие гладкие и черные лишь по одной причине: он мажет их тем же кремом, что и туфли. Доктор Феррис любил повторять, вроде бы подтрунивая над самим собой, что однажды кинопродюсер предложил ему сыграть роль прожженного европейского жиголо. Научную карьеру он начинал биологом, но то время давно ушло. Известность же получил как главный координатор Государственного научного института.

Доктор Стэдлер изумленно воззрился на него: неслыханное дело — на извинения хватило одного слова.

— Похоже, вы проводите в Вашингтоне много времени, — сухо заметил он.

— Но, доктор Стэдлер, разве не вы однажды похвалили меня, назвав сторожевым псом науки? — добродушно ответил доктор Феррис. — Вот я и считаю, что это моя главная обязанность.

— Такое ощущение, что вы готовы выполнять свои обязанности где угодно, только не в институте. Но, пока не забыл, вас не затруднит объяснить мне, откуда у нас это безобразие с нехваткой топлива?

Он не мог понять, с чего это вдруг лицо доктора Ферриса напряглось и приобрело обиженное выражение.

— Позвольте, но я не ожидал от вас подобных слов, — заговорил он официальным тоном, делающим говорящего мучеником без видимых причин. — Никто из руководства не нашел повода для критики. Мы только что отправили подробный доклад о достигнутых результатах в Бюро экономического планирования и национальных ресурсов, и мистер Уэсли Моуч остался крайне им доволен. В этом проекте мы показали себя с самой лучшей стороны. И не заслуживаем осуждения. Учитывая пересеченность местности, сильнейший пожар и сам факт, что прошло только шесть месяцев с того момента, как мы…

— О чем вы говорите? — прервал его доктор Стэдлер.

— О Восстановительном проекте Уайэтта. Разве вы спросили меня не об этом?

— Нет, — покачал головой доктор Стэдлер, — нет, я… Подождите. Давайте разберемся. Я вроде бы вспоминаю, что институт взялся за какой-то восстановительный проект. Так что мы восстанавливаем?

— Добычу нефти, — ответил Феррис. — Нефтяные промыслы Уайэтта.

— Там был пожар, не так ли? В Колорадо? Этот… минутку… этот человек поджег собственные нефтяные поля.

— Я склонен верить, что это слух, порожденный истеричной общественностью, — высказал свое мнение Феррис. — Все эти газетные истории не заслуживают внимания. Я не сомневаюсь, что этот пожар — несчастный случай, и Эллис Уайэтт погиб в огне.

— Так кому сейчас принадлежат промыслы?

— На текущий момент — никому. Уайэтт не оставил завещания, наследников у него нет, поэтому государство взяло на себя управление месторождением на семь лет, учитывая общественную важность его регулярной эксплуатации. Если Эллис Уайэтт не объявится за этот период, его официально признают умершим.

— А почему они пришли к вам… то есть к нам? Мы же не занимаемся добычей нефти.

— Высокая технологическая сложность поставленной задачи требует вмешательства лучших умов науки. Речь идет о восстановлении особого метода извлечения нефти, изобретенного Уайэттом. Его оборудование на месте, хоть и пришло в плачевное состояние. Частично технология известна, но почему-то полное описание процесса и его базовый принцип отсутствуют. Их нам и предстоит воссоздать.

— И как продвигается дело?

— Кое-что обнадеживает. Выделены крупные ассигнования. Мистер Моуч доволен нашей работой. Кстати, как и мистер Бэлч из Комиссии по чрезвычайным ситуациям, мистер Андерсон из Комитета по стратегическим запасам и мистер Петтибоун из Общества защиты прав потребителей. Не знаю, можно ли ожидать от нас большего. Проект успешно развивается.

— Вам удалось добыть нефть?

— Нет, но из одной из скважин получено примерно шесть с половиной галлонов. Объем, безусловно, имеет, скорее, экспериментальное значение, но необходимо принять во внимание тот факт, что на ликвидацию пожара ушло три месяца, и огонь полностью… почти полностью погашен. Наши проблемы сложнее тех, с которыми столкнулся Уайэтт. Он исправлял мелкие неполадки, а мы имеем дело с разрушениями вследствие преступного, антиобщественного саботажа, который… В общем я хочу сказать, проблема сложна, но мы, без сомнения, справимся с ней.

— Но я хотел спросить вас о нехватке нефти здесь, у нас в институте. Всю зиму в здании возмутительно холодно. Мне сказали, что топливо приходится экономить. Уверен, вы можете проследить за тем, чтобы нас снабжали лучше.

— Ах, вы об этом, доктор Стэдлер… Извините! — на лице доктора Ферриса расцвела улыбка облегчения, и он снова заговорил, пытаясь добиться расположения собеседника: — Вы хотите сказать, что температура настолько низкая, что доставляет вам неудобства?

— Я хочу сказать, что промерз до костей.

— Это непростительно! Почему мне до сих пор не доложили? Прошу принять мои персональные извинения, доктор Стэдлер и уверения в том, что такого больше не повторится. Наш отдел снабжения может извинить только одно: недостаток горючего — не их недосмотр. Я понимаю, вам необязательно это знать, подобные мелочи не должны занимать ваше бесценное внимание, но, видите ли, нехватка горючего этой зимой привела к общенациональному кризису.

— Вот как? Только, ради всего святого, не говорите мне, что эти несчастные прииски Уайэтта — единственный источник нефти в стране!

— Нет-нет, но неожиданный выход из строя крупнейшего месторождения вызвал панику на всем нефтяном рынке. Правительству пришлось ввести строгий контроль и нормирование топлива по всей стране, чтобы защитить важнейшие предприятия. Я выбил для института небывало высокую квоту только благодаря особому расположению и связям в коридорах власти, но смиренно признаю свою вину, если квота оказалась недостаточной. Уверяю вас, такое случилось в первый и последний раз. Просто временные трудности. К следующей зиме промыслы Уайэтта заработают, и условия вернутся к норме. Кстати, я отдал необходимые распоряжения перевести котельные института на уголь, к следующему месяцу работы могли бы уже быть закончены. Но тут внезапно в Колорадо без предупреждения закрылся «*Литейный завод Стоктон*», тот самый, что производил сменные части для наших котельных. Эндрю Стоктон совершенно неожиданно отошел от дел, и теперь придется подождать, пока его племянник не запустит завод вновь.

— Понятно. Что ж, надеюсь, что кроме прочих забот вы займетесь и этим, — доктор Стэдлер с досадой пожал плечами. — Даже смешно, с каким количеством промышленных предприятий приходится связываться.

— Но, доктор Стэдлер…

— Знаю, знаю, этого невозможно избежать. Кстати, что такое проект «Икс»?

Доктор Феррис бросил на него короткий взгляд — настороженный, но не испуганный.

— Откуда вам известно о проекте «Икс», доктор Стэдлер?

— Я слышал, как двое ваших молодых ребят что-то о нем говорили, напустив тумана, как детективы-любители. Они сказали мне, что проект очень секретный.

— Это верно, доктор Стэдлер. Крайне секретный исследовательский проект, доверенный нам правительством. Особенно важно, чтобы газеты не узнали о нем ни слова.

— Что означает «Икс»?

— «Ксилофон». Проект «Ксилофон». Название, разумеется, закодировано. Суть работы никак не связана с названием. Но я уверен, что вам это будет неинтересно. Чисто технологическая разработка.

— У меня нет времени на ваши технологические затеи.

— Позвольте попросить вас, доктор Стэдлер, не упоминать в разговорах о проекте «Икс».

— Хорошо, хорошо. Должен сказать, что не приветствую подобные дискуссии.

— Разумеется! Я не прощу себе, что отнял у вас столько времени. Уверяю, можете все предоставить мне. — Он показал, что хочет подняться. — Если вы пригласили меня по этому вопросу, позвольте вас уверить, что…

— Нет, — медленно проговорил доктор Стэдлер. — Я хотел вас видеть не за этим.

Феррис продолжал сидеть, больше не задавая вопросов.

Доктор Стэдлер потянулся и презрительно подтолкнул книгу к центру стола.

— Пожалуйста, — попросил он, — скажите, что это за непристойность?

Доктор Феррис даже не взглянул на стол. Он посмотрел прямо в глаза Стэдлера, потом откинулся в кресле и сказал со странной улыбкой:

— Я польщен, что вы сделали для меня исключение и прочитали популярную книгу. Это маленькое произведение за две недели разошлось тиражом в двадцать тысяч экземпляров.

— Я прочел его.

— И?

— Я требую объяснений.

— Текст вас разочаровал?

Доктор Стэдлер посмотрел на него в замешательстве:

— Вы хоть отдаете себе отчет, какую тему избрали для обсуждения и в какой манере? Один стиль чего стоит, а дурно пахнущее отношение к столь важному предмету?!

— Так вы считаете, что содержание требует более достойной формы представления? — его голос звучал так невинно, что доктор Стэдлер не смог уловить насмешки.

— Вы понимаете, ч*то* проповедуете в этой книжонке?

— Раз вы не одобряете ее, доктор Стэдлер, считайте, что я написал это по наивности. Мне бы так хотелось.

«Да-а, — подумал доктор Стэдлер, — непостижимое свойство Феррис: ему достаточно *просто выслушать* в свой адрес критику, а все остальное его не трогает».

— Если бы у пьяного хама хватило сил выразить себя и излить свою суть на бумаге — беспросветную дикость, ненависть к разуму — именно такую книгу я ожидал бы увидеть в результате. Но знать, что она вышла из-под пера ученого, да еще и с грифом нашего института!..

— Но, мистер Стэдлер, эта книга вовсе не рассчитана на внимание ученых. Она написана как раз для того самого пьяного хама.

— Что вы хотите этим сказать?

— Для широкой публики.

— Господи! Да ведь любой распоследний дурак способен заметить вопиющие противоречия в каждом вашем высказывании.

— Скажем иначе, доктор Стэдлер: каждый, кто их *не* видит, достоин того, чтобы верить всем моим утверждениям.

— Но вы освятили вашу несусветную чепуху престижем науки! Все это впору сомнительной посредственности вроде Саймона Притчетта, пусть себе порет под кайфом мистическую чушь, все равно его никто не слушает. Вы заставляете думать, что *это* наука! Наука! Вы используете достижения разума для разрушения самого разума. По какому праву вы использовали мою работу для необоснованного и абсурдного вторжения в другую область, притянули за уши негодные метафоры, вывели чудовищные обобщения из чисто математической проблемы? По какому праву вы заявили, что я… *Я* дал санкцию на издание этой книги?

Доктор Феррис спокойно, не мигая, смотрел на доктора Стэдлера.

— Доктор Стэдлер, вы говорите так, словно книга предназначалась мыслящей аудитории. В этом случае пришлось бы оперировать такими категориями, как достоверность, обоснованность, логичность и престиж науки. Верно? Но книга адресована публике. А вы сами всегда говорите, что публика не думает, — он замолчал, но Стэдлер ничего не ответил, и Феррис продолжил:

— Эта книга не может иметь философской ценности, но ее психологическая польза велика.

— Какая польза?

— Понимаете, доктор Стэдлер, люди не хотят думать. И чем глубже пропасть, в которую они попали, тем меньше им хочется думать.

Интуитивно они понимают: думать необходимо, это рождает в них чувство вины, поэтому они боготворят каждого, кто оправдывает их нежелание мыслить; они готовы следовать за всяким человеком, способным превратить в добродетель, причем *высокоинтеллектуальную добродетель,* то, что другие привыкли считать грехом, слабостью и виной.

— И вы предлагаете этому потворствовать?

— Это путь к известности.

— Зачем вы добиваетесь известности?

Глазки доктора Ферриса будто мимоходом скользнули по лицу доктора Стэдлера.

— Как всякий государственный институт, мы живем на общественные средства, — буднично ответил он.

— И поэтому вы говорите людям, что наука — пустое мошенничество, которое следует упразднить?

— С точки зрения логики такой вывод из моей книги можно сделать. Но они его не сделают.

— А как быть с репутацией института, запятнанной в глазах интеллигенции, если таковая еще осталась?

— Зачем нам о ней волноваться?

Доктор Стэдлер счел бы сентенцию приемлемой, будь она вызвана ненавистью, завистью или злобой; но полное отсутствие в голосе Ферриса эмоций, невозмутимость и легкость, подразумевающая смешок, кольнули его, спровоцировав краткое ощущение нереальности, скользнувшее в желудок холодным комком ужаса.

— Вы ознакомились с отзывами на мою книгу, мистер Стэдлер? Ее приняли доброжелательно.

— Да, и мне в это трудно поверить, — ему приходилось отвечать так, словно он участвовал в ученом диспуте, но у него не было времени справиться с эмоциями. — Я не могу понять, почему вы вызвали такой интерес у уважаемых научных журналов, и отчего они позволили себе всерьез обсуждать вашу книгу. Будь рядом Хью Экстон, ни одно академическое издание не стало бы рассматривать ее с позиций философии.

— Его нет рядом.

Доктор Стэдлер чувствовал: есть слова, которые вот-вот сорвутся у него с языка, но ему уже давно хотелось закончить беседу.

— С другой стороны, — напомнил доктор Феррис, — а я уверен, что вы не обратили на это внимания, — на обложке цитируется весьма лестный отзыв, полученный мною от мистера Уэсли Моуча.

— Кто такой, черт возьми, этот мистер Уэсли Моуч?

Феррис улыбнулся:

— Через год, мистер Стэдлер, даже вы не зададите этот вопрос. Скажем так: мистер Моуч — тот человек, который в настоящее время квотирует отпуск нефти.

— Тогда я предлагаю вам вернуться к работе. Договаривайтесь с мистером Моучем, пусть он занимается нефтью, а мне оставьте мир идей.

— Было бы забавно попытаться обозначить границу между ними, — по тону чувствовалось, что Феррис озвучивает прописную истину. — Но, коль скоро мы говорим о моей книге, мы затрагиваем и связи с общественностью. — Он повернулся и указал на математические формулы, написанные мелом на доске: — Доктор Стэдлер, прискорбно даже думать о том, что вопросы связей с общественностью могут оторвать вас от работы, которую лишь вы один на всей Земле способны выполнять.

Слова были сказаны с явным подобострастием, и доктор Стэдлер не мог бы объяснить, почему он услышал в них другую фразу: «Пиши уж лучше на доске свои формулы!»

Почувствовав болезненное раздражение, он обратил его на себя, сердито подумав, что пора избавляться от галлюцинаций.

— Связи с общественностью? — пренебрежительно сказал он. — Я не вижу никакой практической пользы от вашей книги. Не понимаю, какую задачу она выполняет.

— В самом деле? — Феррис вновь стрельнул в него глазками. Искорка наглости мелькнула так быстро, что, возможно, Стэдлеру просто почудилось.

— В приличном обществе я могу себе позволить обсуждать далеко не все, тем более в подробностях, — сухо произнес Стэдлер.

— Совершенно точно, — с готовностью подтвердил доктор Феррис и поднялся, давая понять, что разговор окончен. — Прошу вас, вызывайте меня в любое время, если возникнут какие-то неудобства, доктор Стэдлер, — заявил он. — Сочту за честь быть к вашим услугам.

Понимая, что должен подтвердить свой авторитет, подпорченный позорным осознанием того, что сам выбрал себе в заместители этого типа, доктор Стэдлер высокомерно, тоном саркастическим и грубоватым указал:

— Когда я вызову вас в следующий раз, потрудитесь сделать что-нибудь со своей машиной.

— Да, доктор Стэдлер, я сделаю все, чтобы больше не опаздывать, и прошу вас извинить меня. Моя машина доставляет мне кучу неприятностей, она разваливается на части, и недавно я заказал новую, лучшую на рынке — «Хэммонд-кабриолет», но Лоренс Хэммонд на

прошлой неделе покинул бизнес, без предупреждений и объяснений, и я попал в просак. Такие ублюдки, они как сквозь землю проваливаются. С этим нужно что-то делать.

Когда Феррис ушел, доктор Стэдлер устало опустился за стол, не желая больше никого видеть. Он чувствовал, что все равно ни один дорогой ему человек никогда больше не придет.

Он знал слова, которые не сумел произнести. Он не сказал, что подвергнет книгу публичному разоблачению и отвергнет ее ради честного имени института. Он не произнес этого вслух, опасаясь, что его угроза никак не повлияет на Ферриса, что Феррис в безопасности, а мир доктора Стэдлера потерял былую силу. И хоть он твердил себе, что позднее обдумает вопрос публичного протеста, знал, что не сделает этого.

Он бросил книгу в корзину для мусора.

Неожиданно и отчетливо ему представилось лицо, различимое в мельчайших деталях, молодое лицо, которое он долгие годы запрещал себе вспоминать. Он подумал: «Нет, *он* не читал этой книги, *он* не увидит ее, *он* умер, *он* должен был умереть давным-давно…» Шок от страшного *знания* того, что именно этого человека он хотел бы увидеть больше всего на свете, и того, что на это нет никакой надежды, поскольку он мертв, вызвал острую боль.

Он не понимал, почему, когда зазвонил телефон и секретарша сказала, что звонит мисс Дагни Таггерт, он радостно схватил телефонную трубку, заметив при этом, что рука дрожит. Больше года он думал, что она никогда не захочет его видеть. Он услышал ее чистый бесстрастный голос, просивший о встрече.

— Да, мисс Таггерт, конечно, да, разумеется… В понедельник утром? Послушайте, мисс Таггерт, сегодня у меня в Нью-Йорке встреча, я мог бы заскочить к вам в офис во второй половине дня, если хотите… Нет, никакого беспокойства, я буду счастлив… Сегодня днем, мисс Таггерт, после двух, то есть часам к четырем.

Не было никакой встречи в Нью-Йорке. Но он не стал разбираться, что подвигло его на это. Лишь радостно улыбался, глядя на солнечное пятно на дальнем склоне холма.

* * *

Дагни, сохраняя спокойствие, вычеркнула из расписания поезд номер девяносто три и почувствовала даже некоторое удовлетворение. За последние шесть месяцев ей приходилось делать это много раз.

Настанет день, подумалось ей, когда она сможет проводить эту смертельную черту без малейшего усилия над собой. Поезд номер девяносто три, товарный состав, доставлял грузы в Хэммондсвилл, штат Колорадо.

Она понимала, что за этим последует: сначала сокращение прямых рейсов, потом уменьшение числа вагонов для Хэммондсвилла, прицепленных к хвостам поездов, едущих в другие города, затем явная нехватка пассажирских поездов, делавших остановку на железнодорожной станции Хэммондсвилл, и недалек был тот день, когда она вычеркнет Хэммондсвилл, Колорадо, с карты. Та же судьба ожидала узловую станцию Уайэтт и город Стоктон.

Дагни понимала, что после известия о том, что Лоренс Хэммонд отходит от дел, ожидать, надеяться и уповать на то, что его кузен, его адвокат или комитет местных граждан запустят завод вновь, смысла нет. Она знала, что настало время пересмотреть расписание.

Это продолжалось меньше шести месяцев после ухода Эллиса Уайэтта, период, который газетчики весело прозвали «памятным днем для маленького человека». Каждый производитель нефти в стране, владевший тремя скважинами и нывший, что этот Эллис Уайэтт не оставляет ему шансов на выживание, поспешил подмять под себя пепелище, оставленное пожаром на крупнейшем нефтяном месторождении. Они объединялись в лиги, кооперативы, ассоциации, сливали акции в единые пулы. «Солнышко пригрело маленького человека», писали газеты. Их солнцем стали языки пламени, вырывавшиеся из-под обломков «*Уайэтт Ойл*». В их сиянии они заработали состояния, которые им и не снились, бешеные деньги, не потребовавшие от них ни компетенции, ни усилий. Потом их крупнейшие клиенты, такие как электрические компании, поглощавшие нефть целыми грузовыми составами и не дававшие поблажек человеческой слабости, начали переходить на уголь, а клиенты поменьше, более скромные, стали просто выходить из бизнеса. Парни в Вашингтоне ввели нормирование потребления нефти и запредельные налоги на ее производителей для поддержки безработных нефтяников. Потом закрылось несколько крупных нефтяных компаний, затем маленькие люди под солнцем обнаружили, что скважина, которая стоила сотню долларов, сегодня обходится в пять сотен, рынка нефтяного оборудования не существует, из одной скважины нужно добывать столько, сколько прежде добывали из пяти, иначе прогоришь. Нефтепроводы прекращали работу: не стало денег на их обслуживание; железные дороги запросили разрешения поднять плату за грузовые перевозки, они перевозили

меньше нефти, и дороговизна составов с нефтяными цистернами оказалась фатальной для двух небольших железных дорог. Солнце стало клониться к закату, и маленькие люди увидели, что стоимость добычи, прежде позволявшая им выживать на участках в шестьдесят акров, которую обеспечивали квадратные мили месторождения Уайэтта, поднялась до заоблачных высот и скрылась в тех же клубах дыма. Пока их состояния не улетучились, а нефтяные насосы не остановились, маленькие люди так и не поняли, что ни один бизнесмен в стране не может больше позволить себе покупать нефть по цене ее теперешней добычи. Тогда парни в Вашингтоне выделили субсидии добывающим компаниям, но не все производители имели друзей в коридорах власти, и возникла ситуация, изучить или обсудить которую никто не потрудился.

Эндрю Стоктон занимал положение, которому завидовало большинство бизнесменов. Лихорадка перехода на уголь свалилась на его плечи, словно груз золота: ему приходилось обеспечивать круглосуточную работу, чтобы успеть раньше зимних метелей постоить как можно больше котельных. Надежных литейных производств осталось немного, он стал главной опорой всех кухонь и котельных страны. Опора рухнула без предупреждения. Эндрю Стоктон объявил, что отходит от дел, закрыл завод и исчез. Он не сказал ни слова о том, как считает нужным поступить с заводом, и имеют ли право его родственники открыть его вновь.

На дорогах страны еще появлялись автомобили, но они напоминали путников, бредущих в пустыне среди выжженных солнцем скелетов лошадей: одни машины двигались мимо остовов других, павших в пути и брошенных в придорожных кюветах. Но еще оставались люди, которым удавалось доставать топливо, по знакомству, о котором никто не спрашивал. Эти люди покупали автомобили, не торгуясь. Свет заливал горы Колорадо из огромных окон завода, где конвейеры Лоренса Хэммонда гнали грузовики и автомобили к запасным путям «*Таггерт Трансконтинентал*». Весть о том, что Лоренс Хэммонд оставил дела, пришла, когда этого ожидали меньше всего, короткая и внезапная, как гром среди ясного неба. Комитет местных граждан транслировал по радио воззвания, умоляя Лоренса Хэммонда, где бы он ни был, дать разрешение на открытие завода. Ответа не последовало.

Дагни вскрикнула, когда ушел Эллис Уайэтт; она ахнула, когда отошел от дел Эндрю Стоктон; услышав, что Лоренс Хэммонд оставил бизнес, она апатично спросила: «Кто следующий?»

— Нет, мисс Таггерт, я не могу этого объяснить, — сказала ей сестра Эндрю Стоктона в ее последний приезд в Колорадо два месяца

назад. — Он мне ни слова не сказал, я даже не знаю, жив он или умер, как Эллис Уайэтт. Нет, накануне ничего примечательного не случилось. Я только помню, что в тот последний вечер к нему приходил какой-то мужчина. Незнакомец, я его прежде никогда не встречала. Они проговорили допоздна, — когда я ложилась спать, в окне кабинета Эндрю еще горел свет.

В городках штата Колорадо люди молчали. Дагни видела, как они бродили по улицам, мимо своих маленьких закусочных, скобяных и бакалейных лавок, словно надеясь, что мелькание магазинчиков спасет их от необходимости смотреть в будущее. Она тоже прошла по этим улочкам, стараясь не поднимать головы, чтобы не видеть закопченных камней и искореженного металла, оставшихся от нефтяных полей Уайэтта. Они виднелись в большинстве городков; стоило поднять голову, наблюдать можно было лишь развалины.

Одна скважина на самой вершине холма все еще горела. Никто не смог ее потушить. Дагни видела с улицы: огненный шлейф развивался на фоне неба, словно хотел оторваться и улететь. Она видела это и ночью, за сто миль, из окна поезда.

Люди прозвали его Факелом Уайэтта.

Самый длинный состав на дороге «*Линия Джона Голта*» насчитывал сорок вагонов; самый быстрый шел со скоростью пятьдесят миль в час. Двигатели приходилось беречь: они работали на угле, давным-давно выработав свой ресурс. Джим получал топливо для дизелей, которые тянули его «*Комету*» и еще несколько трансконтинентальных составов. Единственный поставщик горючего, на которого Дагни могла рассчитывать и с кем имела дело, был Кен Данаггер из «*Данаггер Коул*» в Пенсильвании.

Пустые составы постукивали колесами через четыре соседних штата по направлению к Колорадо. Они везли несколько вагонов овец, немного зерна, немного арбузов и случайных пассажиров, семью фермера, у которого были друзья в Вашингтоне. Джим получил в Вашингтоне субсидию для каждого работающего состава не ради прибыли, а для обеспечения «равенства населения».

Дагни отдавала все силы, чтобы сохранить движение поездов в тех регионах, где в них еще нуждались, где еще теплилось производство. Но в балансовых сводках «*Таггерт Трансконтинентал*» чеки субсидий Джиму на пустые поезда содержали бо́льшие цифры, чем прибыль, принесенная лучшим грузовым составом в самом оживленном промышленном районе.

Джим хвастал, что последние шесть месяцев — самые удачные в истории дела Таггертов. Но на глянцевых страницах его рапорта держателям акций, в графе «прибыль», были учтены деньги, которые

он не заработал: субсидии за пустые поезда и деньги, которыми он не владел, — суммы, поступающие за уплату процентов и долгов компании Таггертов, недостачу которых, по распоряжению Уэсли Моуча, им разрешалось не выплачивать. Он похвалялся ростом грузовых перевозок в Аризоне, где Дэн Конвей закрыл последний завод «*Феникс-Дуранго*» и отошел от дел; и в Миннесоте — там Пол Ларкин перевозил по рельсам железную руду, и последние груженые баржи скрылись в туманах Великих озер.

— Ты всегда считала, что делать деньги — очень важная вещь, — сказал ей Джим со странной полуулыбкой. — Что ж, сдается мне, что в этом я преуспел больше, чем ты.

Никто не признавал открыто проблему замороженных долгов железных дорог, возможно, потому, что все слишком хорошо ее понимали. Во-первых, среди держателей облигаций начиналась паника, и еще больше волновалась общественность, во-вторых, Уэсли Моуч разослал еще одну директиву, обещавшую, что люди могут «разморозить» свои облигации, доказав «насущную необходимость» этого шага. Правительство скупит облигации, если сочтет доказательства удовлетворительными. Оставалось ответить на три вопроса: «Что означает *доказательство*?», «Что означает *необходимость*?» и «Насущная — *для кого*?».

Вскоре стало дурным тоном рассуждать о том, почему один человек получил разрешение на размораживание своих денег, а другому отказали. Люди молча поджимали губы, услышав вопрос: «Почему?» Просто сообщали, но не объясняли; систематизировали факты, но не оценивали их: мистер Смит «разморожен», мистер Джонс — нет, вот и все. А когда мистер Джонс кончал жизнь самоубийством, люди говорили: «Ну, не знаю, если бы ему действительно нужны были деньги, правительство дало бы их ему, но просто некоторые люди слишком жадные».

Не говорили о том, что люди, получив отказ, продавали облигации за треть их стоимости другим людям, которые чудесным образом превращали свои замороженные тридцать три цента в полновесный доллар; или о новой профессии, которой овладели бойкие мальчики, только пришедшие с институтской скамьи, называвшие себя «размораживателями» и предлагавшие «оформить вашу заявку по надлежащей современной форме». Мальчики имели друзей в Вашингтоне.

Глядя с платформы провинциальной станции на рельсы компании Таггертов, она поймала себя на том, что чувствует не былую гордость, а смутный стыд, словно на металле нарос слой ржавчины и даже хуже: словно в ржавчине присутствовал оттенок крови. Но потом, на пересечении путей, она всматривалась в статую Нэта Таггерта и ду-

мала: «Это твои пути, ты их создал, ты боролся за них, тебя не остановили бы ни страх, ни отвращение. И я не отступлю перед натиском крови и ржавчины, ведь я единственная, кто остался, чтобы защищать твою дорогу».

Она не прекращала поиски человека, создавшего мотор.

Это было единственной частью ее работы, позволявшей выдержать все остальное.

Это было единственной достижимой целью, придававшей смысл ее борьбе. Иногда, правда, она задавалась вопросом, зачем она хочет воссоздать мотор.

Казалось, какой-то голос спрашивает ее: «Зачем?» «Потому что я еще жива», — отвечала она. Но ее поиски оставались тщетными. Два ее инженера ничего не нашли в Висконсине. Она послала их обыскать всю страну и найти человека, который работал в *«Двадцатом веке»,* и выяснить имя создателя мотора. Они не нашли ничего. Она послала их просмотреть папки Патентного бюро, но на мотор никогда не был выдан ни один патент.

Единственным, что осталось у нее от ее собственных поисков, был сигаретный окурок с отметкой «один доллар». Она не вспоминала о нем, пока однажды вечером он не попался ей под руку в ящике стола. Она показала его знакомому в табачном киоске на платформе. Старик изучил окурок, осторожно держа его двумя пальцами, и до крайности изумился: он никогда не слышал о такой марке, не мог же он ее пропустить. «Хороший был табак, мисс Таггерт?» — «Лучше я не курила». Он озадаченно покачал головой. Старик обещал узнать, где изготавливались сигареты и прислать ей блок.

Дагни пыталась найти ученого, способного реконструировать мотор. Она провела собеседования с людьми, рекомендованными ей как лучшие головы в своей области. Первый из них, изучив останки мотора и рукописи, заявил тоном инструктора по строевой подготовке, что эта штука работать не может, никогда не работала и ему по силам доказать, что никогда такой мотор не заставить работать. Другой, растягивая слова, словно отвечая на надоевший вопрос двоечника, сообщил, что не знает, можно ли его сделать, и не собирается это выяснять. Третий воинственно провозгласил, что может заняться этим вопросом по контракту на десять лет по двадцать пять тысяч долларов в год: «В конце концов, мисс Таггерт, если вы ожидаете получить от этого мотора огромные прибыли, вы должны оплатить мне рабочее время». Четвертый, самый молодой, минуту посмотрел на нее молча, и выражение его лица изменилось с бесстрастного на презрительное: «Знаете, мисс Таггерт, я не думаю, что такой мотор вообще нужно создавать, даже если кому-то удастся придумать, как это сделать. Он настолько превзойдет все

ныне существующее, что это будет нечестно по отношению к мелким исследователям, поскольку для их достижений и способностей места уже не останется. Я не думаю, что сильный обладает правом ранить самоуважение слабого». Она выставила его из кабинета и сидела там в невероятном ужасе от сознания того, что самое порочное заявление, услышанное ею в своей жизни, высказано тоном морализирующего праведника.

Решение поговорить с доктором Робертом Стэдлером стало ее последней надеждой.

Она заставила себя позвонить ему, с трудом преодолев внутреннее сопротивление, не оставлявшее ее. Она не старалась переубедить себя. Она думала: «Я же работаю с такими людьми, как Джим и Оррен Бойль, вина Стэдлера меньше, так почему я не могу ему позвонить?»

Не найдя ответа, она только чувствовала, что единственный человек на земле, которому она не должна звонить, — доктор Роберт Стэдлер.

Сидя за столом, под расписаниями «*Линии Джона Голта*», ожидая прихода доктора Стэдлера, Дагни раздумывала о том, почему в науке годами не появлялось таланта первой величины. Она не могла найти ответа, только смотрела на черную линию, похоронившую поезд номер девяносто три в расписании.

Поезд обладал двумя атрибутами живого организма — движением и целью, но сейчас он стал всего лишь кучей мертвых вагонов и двигателей. Не позволяй себе задумываться, приказала она, расформируй состав как можно скорее, двигатели требуются повсюду, Кен Данаггер в Пенсильвании требует поездов, больше поездов, если только…

— Доктор Роберт Стэдлер, — раздался голос из аппарата внутренней связи.

Он вошел, улыбаясь. Улыбка должна была смягчить его слова.

— Мисс Таггерт, вы не поверите, как я рад видеть вас снова.

Она не улыбнулась в ответ, ответив серьезно и учтиво.

— Очень любезно с вашей стороны приехать сюда. — выпрямившись, она медленно, официально наклонила голову в приветствии.

— Признаюсь, мне не хватало только правдоподобного предлога, чтобы приехать. Это вас не разочарует?

— Я постараюсь не переоценить вашу учтивость, — она по-прежнему не улыбалась. — Прошу вас садиться, доктор Стэдлер.

Он нервно озирался.

— Никогда раньше не бывал в кабинете начальника железных дорог. Не знал, что он будет таким… таким официальным. Работа сказывается?

— Дело, по которому я хотела бы спросить у вас совета, далеко от сферы ваших интересов, доктор Стэдлер. Вам может показаться странным, что я позвонила вам. Позвольте мне объяснить причину моего звонка.

— Тот факт, что вы захотели со мной связаться, уже является достаточной причиной. Если я хоть чем-нибудь смогу вам помочь, то получу от этого огромное удовольствие. — Его улыбка обращала на себя внимание, улыбка человека, который не прикрывает ею слова, а имеет смелость выражать свои эмоции искренне.

— У меня возникла чисто техническая проблема, — сказала она чистым, невыразительным тоном молодого механика, обсуждающего трудное задание. — Я понимаю ваше пренебрежение этой сферой человеческой деятельности. Конечно же, это не фундаментальная наука. Я не ожидаю от вас решения моей проблемы — это не ваша работа. Я позвонила только для того, чтобы ознакомить вас с проблемой, а затем задать вам всего два вопроса. Мне пришлось позвонить вам, потому что дело требует ума, очень мощного ума, — она говорила без эмоций, только констатируя факты, — а вы — единственный оставшийся великий ученый.

Она не могла бы объяснить, почему ее слова обидели его. Она увидела, как застыло его лицо, в глазах появилось выражение странной искренности, открытой и почти умоляющей, потом она услышала его голос, изменившийся, словно под давлением эмоции, ставший проще и застенчивей:

— В чем состоит ваша проблема, мисс Таггерт?

Она рассказала ему о моторе и о том месте, где она нашла его; о том, что оказалось невозможно узнать имя его создателя; не стала только вдаваться в детали своего поиска. Потом протянула ему фотоснимки мотора и остатки рукописи.

Она смотрела на него, пока он читал. Заметила, с каким профессионализмом он быстро окинул взглядом материалы, потом замер, сосредоточился, губы его сложились, словно он присвистнул или ахнул. Потом застыл на несколько минут, взгляд стал отсутствующим, Стэдлер как будто просматривал бесчисленные зацепки, не упуская ни одной, затем пролистал бумаги назад, остановился, вчитался. Казалось, он разрывается между готовностью впитать все перспективы, открывшиеся перед его немыслимой интуицией. Она чувствовала его молчаливое возбуждение,

знала, что он позабыл о ее кабинете, о ее существовании, обо всем, кроме изобретения, и подумала, хорошо было бы, если бы ей нравился Роберт Стэдлер.

Они молчали почти целый час, когда он, наконец, закончил читать и взглянул на нее.

— Это потрясающе! — радостным и растерянным тоном объявил он, словно сообщая неожиданную новость, которой она не ожидала услышать.

Как бы ей хотелось улыбнуться в ответ и разделить с ним радость, но она просто кивнула и холодно ответила:

— Да.

— Но, мисс Таггерт, это великолепно!

— Да.

— И вы говорите, что это технический вопрос? Нет, много, много больше. Страницы, где он описывает конвертер… вы видите, какова его предпосылка. Он пришел к новой концепции энергии. Он разбивает в пух и прах все наши стандартные допущения, согласно которым его мотор было бы невозможно создать. Он формулирует новые, свои собственные принципы и раскрывает секрет преобразования потенциальной энергии в кинетическую. Знаете ли вы, что это означает? Вы понимаете, что за подвиг чистой, абстрактной науки он совершил, прежде чем создал свой мотор?

— Кто? — спокойно спросила она.

— Прошу прощения?

— Это первый из двух вопросов, которые я хотела вам задать, доктор Стэдлер: можете ли вы назвать мне молодого ученого, известного десять лет назад, который был бы способен на это?

Он растерянно замолчал; над этим он не успел подумать.

— Нет, — нахмурясь, медленно ответил Стэдлер. — Нет, я никого не могу вам назвать… И это странно… потому что человек с такими способностями не остался бы незамеченным… непременно кто-нибудь обратил бы на него мое внимание… Всех многообещающих физиков всегда присылают ко мне… Так, говорите, вы нашли это в исследовательской лаборатории рядового завода, изготавливавшего моторы?

— Да.

— Странно. Что он там делал?

— Проектировал мотор.

— Об этом я и говорю. Человек, отмеченный печатью гения, истинный ученый, предпочел создавать технические изобретения? Я считаю это возмутительным. Ему понадобился мотор, и он преспокойно производит фундаментальную революцию в науке об энергии

и не удосуживается опубликовать свои открытия, а сразу изготавливает свой мотор. Зачем он захотел тратить свои мозги на практические предметы?

— Возможно, потому что ему нравилось жить на этой земле, — непроизвольно вырвалось у нее.

— Прошу прощения?

— Нет, извините, доктор Стэдлер. Я не намерена обсуждать… не относящееся к делу.

Он отвел взгляд, вернувшись к своим мыслям.

— Почему он не пришел ко мне? Почему не работал в крупном научном центре, как ему пристало? Если ему хватило разума создать это, уверен, что он понимал всю важность своего творения. Почему он не опубликовал статью о своей теории энергии? Я могу проследить общее направление его работы, но, черт его побери, самые важные страницы утеряны, вывод отсутствует! Уверен, что кто-то из его окружения знал достаточно, чтобы сообщить о его работе всему научному сообществу. Почему это не сделано? Как они могли отвергнуть, просто отвергнуть достижение такого рода?

— Здесь много вопросов, на которые я не нахожу ответа.

— И, кроме того, с практической точки зрения, почему этот мотор оказался в куче мусора? Любой жадный дурак из мира промышленности ухватился бы за него, чтобы сделать себе состояние. Не нужно обладать мощным разумом, чтобы увидеть его коммерческую ценность.

Она улыбнулась в первый раз, неприятной от горечи улыбкой, и ничего не сказала.

— Вам не удалось разыскать конструктора? — спросил он.

— Это совершенно невозможно.

— Вы думаете, он еще жив?

— У меня есть причины так думать. Но полной уверенности нет.

— Что, если я помещу объявление о нем?

— Нет. Не нужно.

— Но если я помещу объявление в научных изданиях и поручу мистеру Феррису… — он умолк. Он поймал ее быстрый взгляд. Дагни ничего не сказала и выдержала его ответный взгляд. Стэдлер отвел глаза и закончил фразу холодно и жестко:

— …и поручу мистеру Феррису объявить по радио, что я хочу его видеть, откажется ли он прийти?

— Да, мистер Стэдлер, я думаю, что он откажется.

Больше он не смотрел на нее. Его лицо слегка напряглось и тут же расслабилось. Она не могла бы сказать, что за свет погас у него

внутри, как и о том, что заставило ее подумать именно о гаснущем свете.

Он бросил рукопись на стол привычным небрежным движением кисти.

— Люди, достаточно сообразительные, чтобы продавать свои мозги за деньги, должны были бы приобрести некоторые знания реальной жизни.

Он взглянул на нее с вызовом, словно ожидая услышать сердитый ответ. Но ее ответ оказался хуже, чем гнев: лицо Дагни осталось бесстрастным, словно правда или фальшь его умозаключений больше ее не интересовали. Она вежливо произнесла:

— Второй вопрос, который я хотела вам задать: не будете ли вы так добры назвать мне имя физика, который, по вашему мнению, способен реконструировать этот мотор?

Стэдлер хмыкнул; в его голосе звучала боль.

— Вас тоже терзает эта мысль, мисс Таггерт? О невозможности отыскать где-нибудь хоть сколь-нибудь интеллектуальную личность?

— Я встречалась с несколькими физиками, которых мне настоятельно рекомендовали, и сочла их совершенно безнадежными.

Он порывисто наклонился вперед.

— Мисс Таггерт, вы позвонили мне, потому что доверяете моему научному суждению?

В вопросе звучала откровенная мольба.

— Да, — ровно ответила она. — Я доверяю вашему научному суждению.

Он откинулся назад. Казалось, скрытая улыбка смыла напряжение с его лица.

— Я хотел бы вам помочь, — он говорил с ней, как с другом. — Помочь из эгоистических соображений, потому что, видите ли, это моя самая большая проблема — найти талантливых людей для моей собственной команды. Талант, черт возьми! Я удовлетворился бы даже его внешними признаками, но люди, которых мне присылают, по правде говоря, имеют потенциал, позволяющий дорасти разве что до приличного гаражного механика. Не знаю, может, я старею и становлюсь слишком требовательным, а может, человеческая раса вырождается, но в моей юности мир не был так беден интеллектуально. Если бы вы видели, из кого приходится сегодня выбирать, вы бы…

Он умолк, словно пораженный внезапным воспоминанием. Он помолчал, как будто обдумывая нечто, о чем не хотел говорить. Она

убедилась в этом, когда он резко заключил, обиженным тоном, прикрывавшим отступление:

— Нет, я не знаю человека, которого мог бы порекомендовать вам.

— Это все, о чем я хотела спросить вас, доктор Стэдлер, — проговорила она. — Благодарю за то, что уделили мне время.

Мгновение он сидел молча, словно не мог заставить себя уйти.

— Мисс Таггерт, — попросил он. — Вы не могли бы показать мне сам мотор?

Она в растерянности посмотрела на него.

— Да… Но он находится в подземном хранилище, под туннелями Терминала.

— Я был бы рад, если бы вы пустили меня туда. У меня нет никакого особого мотива. Простое любопытство. Мне хотелось бы на него посмотреть, вот и все.

Когда они остановились в гранитном подземелье над стеклянным контейнером с изломанной металлической конструкцией внутри, он снял шляпу медленным рассеянным движением, и она не смогла сказать, было ли это автоматическим движением, ведь он находился в помещении рядом с женщиной, или жестом, каким обнажают голову, стоя над гробом.

Они молча стояли в свете одинокой лампочки, отражавшемся от стеклянной поверхности. В отдалении постукивали колеса поезда, и порой казалось, что внезапная резкая вибрация старалась исторгнуть ответ из останков, покоящихся в стеклянном саркофаге.

— Это так прекрасно, — негромко произнес Стэдлер. — Прекрасно видеть крупную, новую, ключевую идею, которая принадлежит не мне!

Она посмотрела на него, чтобы убедиться, правильно ли его понимает. Он заговорил со страстной уверенностью, отвергая условности, не заботясь о том, прилично ли позволять слышать его боль, не видя ничего, кроме лица женщины, способной его понять:

— Мисс Таггерт, вам известен критерий посредственности? Это злоба по отношению к чужому успеху. Эти трепетные бездарности, трясущиеся при мысли о том, что чужая работа окажется лучше, чем их собственная… Им не знакомо одиночество, которое приходит, когда достигаешь вершины. Одиночество из-за отсутствия равного, ума, который ты мог бы уважать, и открытия, которым ты мог бы восхищаться. Они ощеривают на тебя зубы из своих крысиных нор, уверенные в том, что ты получаешь удовольствие, затмевая их, в то время как ты отдал бы год жизни, лишь бы уловить среди них искру

таланта. Они завидуют успеху, и в своих мечтах о величии рисуют мир, где все люди становятся их благодарными подчиненными. Им невдомек, что эта мечта — безошибочное доказательство их заурядности, потому что в таком мире талантливый человек не выживет. Им не дано узнать, что он чувствует, окруженный посредственностями. Ненависть? Нет, не ненависть, но скуку, ужасную, безнадежную, опустошающую, парализующую скуку. Чего стоят лесть и низкопоклонство тех, кого не уважаешь? Вы когда-нибудь ощущали желание узнать человека, которым вы можете восхищаться? На кого вы не будете смотреть сверху вниз, а только снизу вверх?

— Я чувствовала это всю свою жизнь, — ответила она. В этом ответе она не могла ему отказать.

— Я знаю, — в его голосе зазвучали нежные нотки. — Я знал это, впервые заговорив с вами. Вот почему я пришел сегодня… — Он на секунду замолчал, но она ничего не ответила на призыв, и он договорил с прежней тихой нежностью: — Что ж, вот почему я хотел увидеть мотор.

— Понимаю, — мягко сказала она. Звук ее голоса — единственная благодарность, которую она могла даровать ему.

— Мисс Таггерт, — он опустил глаза, глядя на стеклянный ящик, — я знаю человека, который способен взяться за реконструкцию этого мотора. Он не работает на меня, поэтому он, возможно, тот самый человек, который вам нужен.

К тому времени, когда Стэдлер поднял голову — и прежде, чем успел заметить восхищение в ее открытом взгляде, о котором он молил, прощающем его взгляде — он преодолел себя, добавив в голос сарказма:

— Совершенно очевидно, что молодой человек не хочет работать на благо общества или процветания науки. Он сказал мне, что не пойдет на государственную службу. Полагаю, что он захочет получить большее жалованье от частного работодателя.

— Да, — жестко ответила она. — Возможно, именно такой человек мне нужен.

— Это молодой физик из Технологического института штата Юта, — сухо сказал он. — Его зовут Квентин Дэниелс. Несколько месяцев назад его прислал ко мне мой друг. Он явился, чтобы увидеться со мной, но отказался от работы, которую я ему предложил. Я хотел взять его в свою команду. У него голова настоящего ученого. Не знаю, добьется ли он успеха с вашим мотором, но по крайней мере у него есть для этого способности. Надеюсь, вы сможете связаться с ним через упомянутый мною институт штата Юта. Я не знаю, чем он там сейчас занимается, — это учреждение год назад закрыли.

— Благодарю вас, доктор Стэдлер. Я свяжусь с ним.

— Если… если вы пожелаете, буду рад помочь ему с теоретической подготовкой. Я намерен сделать часть работы лично, начав с первых глав рукописи. Мне хотелось бы отыскать кардинальный секрет энергии, открытый автором. Мы должны рассекретить его базовый принцип. Если это нам удастся, мистер Дэниелс сможет закончить работу, связанную с вашим мотором.

— Я буду рада любой помощи, которую вы сможете мне оказать, доктор Стэдлер.

Они молча пошли через безжизненные туннели Терминала, вдоль ржавых рельсов под голубыми бусинами фонарей, к отдаленному свету платформ.

У выхода из туннеля они заметили человека, склонившегося к рельсам, неритмично и раздраженно ударявшего молотком по стрелке. Другой мужчина стоял рядом, нетерпеливо глядя на него.

— Ну, что там с этой проклятой штукой? — спросил смотревший.

— Не знаю.

— Ты возишься уже полчаса.

— Угу.

— Долго еще?

— Кто такой Джон Голт?

Доктор Стэдлер вздрогнул. Миновав рабочих, он произнес:

— Мне не нравится это выражение.

— Мне тоже, — ответила Дагни.

— Откуда оно взялось?

— Никто не знает.

Они помолчали, потом он сообщил:

— Я знал когда-то Джона Голта. Но он давно умер.

— Кем он был?

— Я привык думать, что он до сих пор жив. Но теперь я уверен, что он умер. Он обладал таким умом, что, будь он жив, сейчас весь мир говорил бы о нем.

— Но о нем действительно говорит весь мир.

Он застыл на месте.

— Да… — медленно произнес он, словно только что поняв это. — Да… Но почему? — слова были полны страха.

— Кем он был, доктор Стэдлер?

— Почему они говорят о нем?

— Кем он был?

Он потряс головой, пожал плечами и резко ответил:

— Это просто совпадение. Имя не самое редкое. Бессмысленное совпадение. Никакой связи с человеком, которого я знал. Тот человек умер.

И добавил не раздумывая:

— Иного не может быть.

* * *

Распоряжение, лежавшее на его столе, было помечено словами «Конфиденциально… Срочно… Приоритетно… Особая важность подтверждена кабинетом Верховного координатора… Касается проекта “Икс”». В нем содержалось требование послать десять тысяч тонн металла, выплавленных на заводах *«Риарден-металл»,* в Государственный научный институт.

Риарден прочитал его и посмотрел на управляющего прокатными станами, неподвижно стоявшего перед ним. Распоряжение принес он и молча положил на стол перед Риарденом.

— Я подумал, что вы захотите это увидеть, — ответил он на немой вопрос Риардена.

Риарден нажал на кнопку, вызывая мисс Ивз. Он подал распоряжение ей и сказал:

— Отошлите его туда, откуда оно пришло. Скажите, что я не стану посылать металл в Государственный научный институт.

Гвен Ивз и управляющий воззрились на него, потом друг на друга и снова на него. Он прочитал в их взглядах благодарность.

— Да, мистер Риарден, — официальным тоном ответила Гвен, взяв в руки распоряжение, словно обычную деловую бумагу. Она поклонилась и покинула кабинет. Управляющий вышел следом.

Риарден с улыбкой проводил его. Ему было наплевать на бумагу и на возможные последствия своего решения.

Шесть месяцев назад, повинуясь внутреннему голосу, он словно повернул заглушку, чтобы перекрыть поток эмоций, и приказал себе: работай, не останавливай литейное производство, чувствовать будешь потом. Это позволило ему хладнокровно отслеживать действие Закона справедливой доли.

Никто не знал, как понимать этот закон. Сначала ему сказали, что он не может производить свой металл в объемах, бóльших, чем тоннаж лучшего специального сплава, иначе говоря, стали, производимой Орреном Бойлом. Но лучший специальный сплав Оррена Бойля — негодный продукт, который никто не хотел покупать. Потом ему сказали, что он может производить свой металл в объемах, которые Оррен Бойль мог бы производить, если бы производил. Никто не

знал, как это понимать. Кто-то в Вашингтоне назвал цифру, определяющую количество тонн в год, не объясняя причин. Всем пришлось принять эту цифру.

Он не знал, как предоставить каждому из потребителей, требовавших своего, равную долю металла. Лист ожидания заказов на поставку невозможно было бы выполнить и за три года, даже при работе на полную мощность. Новые заказы тем временем поступали ежедневно. И они уже не были заказами в старом, почтенном смысле, превратившись в требования. По закону каждый клиент, которому не удалось получить свою справедливую долю от «*Риарден-металл*», имел право начать преследовать его в судебном порядке.

Но никто не представлял, как определить, что именно составляло справедливую долю, и от какого объема металла. Тогда к Риардену из Вашингтона на должность заместителя директора по распределению готовой продукции был прислан смышленый молодой парень, только что окончивший колледж. После многочисленных телефонных переговоров со столицей парень объявил, что клиенты получат по пятьсот тонн металла каждый в порядке поступления их заявок. Никто не возразил против названной им цифры.

Да и какие, собственно, могли быть возражения? С тем же успехом могли объявить как один фунт, так и миллион тонн. Парень устроил себе офис на заводе Риардена, где четыре девицы принялись регистрировать заявки на металл. При существующем уровне производства заявок набралось до начала следующего столетия.

Пятисот тонн металла не хватило бы и на три мили рельсов для «*Таггерт Трансконтинентал*» или на крепеж для одной из угольных шахт Кена Данаггера. Крупнейшим производствам, лучшим потребителям заводов Риардена, было отказано в использовании его металла. Но на рынке появились клюшки для гольфа, изготовленные из риарден-металла, а за ними кофейники, садовый инструмент и водопроводные краны. Кену Данаггеру, знавшему цену металла и дерзнувшему заказать его, несмотря на гнев общественного мнения, не разрешили получить его; по его заявке снабжение прекратилось без объяснения причин, что разрешалось новым законом. Мистер Моуэн, предавший компанию «*Таггерт Трансконтинентал*» в самый опасный для нее час, занялся производством выключателей из риарден-металла и продавал их «*Атлантик Саусерн*». Риарден наблюдал за всем этим, изо всех сил стараясь не дать волю эмоциям.

Он молча отворачивался, когда кто-нибудь обращал его внимание на то, о чем знали все: о больших состояниях, мгновенно нажитых на его металле.

— Нет, — говорили люди в кабинетах. — Черным рынком это не назовешь, он действительно таковым не является. Никто не перепродает металл нелегально. Просто продают свои права на него. Не продают буквально, просто объединяют свои доли в общий пул.

Он не желал и слышать о мелочных делишках, когда «доли» продавались и сливались, как и о том, что заводчик из Вирджинии за два месяца произвел пять тысяч тонн литья риарден-металла, и о человеке из Вашингтона, анонимном партнере того заводчика.

Он знал, что их прибыль на тонну риарден-металла в пять раз превышает его собственную. Но воздерживался от комментариев. Каждый имел право на металл, кроме него самого.

Молодой человек из Вашингтона, которого сталевары прозвали Кормилицей, увивался вокруг Риардена с примитивным, восхищенным любопытством, которое, как ни невероятно, было формой обожания. Риарден наблюдал за ним с веселым отвращением. Мальчишка не имел ни малейших понятий о морали, ее выбили из него в колледже, оставив только необычную откровенность, одновременно наивную и циничную, сродни невинности дикаря.

— Вы презираете меня, мистер Риарден, — заявил он как-то, неожиданно и без доли возмущения. — Это непрактично.

— Почему это непрактично? — спросил Риарден.

Мальчишка не нашел что ответить, озадаченно глядя на шефа. Он никогда не отвечал на вопрос «Почему?», ограничиваясь простыми утверждениями. Характеризовал людей фразами вроде «Он старомоден», «Он не перестроился», «Он не приспособился», не колеблясь и не разъясняя своих слов. Окончив металлургический факультет колледжа, он мог заявить: «Я думаю, что для выплавки металла требуется высокая температура». Относительно физических понятий он высказывался не слишком определенно, о людях — исключительно категорично.

— Мистер Риарден, — сказал он однажды, — если вы захотели бы продать вашим друзьям больше металла, я хочу сказать, в крупных объемах, то это можно организовать. Почему мы не запрашиваем специального разрешения на основании важнейшей потребности? У меня есть друзья в Вашингтоне. Ваши друзья — довольно важные люди, крупные бизнесмены, было бы нетрудно выбить поставку под важнейшую потребность. Конечно, возникнут некоторые расходы. На дела в Вашингтоне. Вы понимаете, дела всегда требуют расходов.

— Что за дела?

— Вы понимаете, о чем я говорю.

— Нет, — отрезал Риарден. — Не понимаю. Почему бы вам не объяснить?

Мальчишка посмотрел на него неуверенно, взвесил все в уме и выдал:

— Это плохая психология.

— Что «это»?

— Вы знаете, мистер Риарден, нет нужды использовать конкретные слова.

— Какие слова?

— Слова — величина относительная. Они всего лишь символы. Если мы не используем гадкие символы, то не получим в результате гадость. Зачем вы хотите, чтобы я назвал все своими именами, если я уже использовал другие слова?

— И какие же слова я хочу от вас услышать?

— Зачем вы этого хотите?

— По той же причине, по какой вы этого не хотите.

Помолчав минуту, мальчишка ответил:

— Знаете, мистер Риарден, абсолютных стандартов не существует. Мы не всегда можем следовать жестким принципам, нам приходится быть гибкими, мы должны приспосабливаться к реальной действительности и действовать с учетом целесообразности момента.

— Чеши отсюда, подонок. Иди и выплави тонну стали без жестких принципов, с учетом целесообразности момента.

Да, конечно, Риарден презирал мальчишку, но не мог заставить себя возмущаться им. Парень — *дитя* своего века, а вот он, Риарден, этому веку не подходил. Вместо того чтобы собирать новые котлы, думал Риарден, он включился в безнадежную гонку по поддержанию работы старых; вместо новых разработок, исследований, экспериментов по использованию металла он тратил всю свою энергию на поиски источников железной руды. Совсем как люди на заре Железного века, подумал он, только надежды на успех у нас меньше.

Он старался гнать от себя эти мысли. Ему приходилось обороняться от собственных чувств, словно часть его самого превратилась в незнакомца, которого нужно было держать в состоянии онемения, а постоянным обезболивающим служила его недремлющая воля. Об этом своем двойнике он знал только, что ему не стоит предоставлять право голоса. Он пережил опасный момент, которому нельзя позволить повториться.

Это был момент, когда, сидя в одиночестве в своем кабинете, зимним вечером, захваченный сообщениями газет с длинной колонкой директив на первой странице, он услышал по радио новости о пыла-

ющих нефтяных приисках Эллиса Уайэтта. Его первой реакцией — раньше мыслей о будущем, о страшном бедствии, прежде шока, страха или протеста — был приступ смеха. Он смеялся, испытывая триумф, облегчение, бьющую струей жизненную силу, и слова, которых он не произнес, но глубоко прочувствовал, были: «Благослови тебя Господь, Эллис Уайэтт, что бы ты ни делал!»

Разобравшись в скрытых причинах своего смеха, он понял, что теперь осужден постоянно прислушиваться к себе. Словно человек, переживший инфаркт, он знал, что первый звонок уже прозвенел и что у себя внутри он носит опасность, способную в любую минуту нанести удар.

С тех пор он совершал ровные, осторожные, внутренне полностью контролируемые шаги. Но тот ужасный момент настиг его вновь. Когда он увидел на своем столе распоряжение из Государственного научного института, ему показалось, что свечение, якобы излучаемое бумагой, исходит не из ближайшей плавильной печи, а от пламени горящих нефтяных скважин.

— Мистер Риарден, — сказал Кормилица, услышав о том, что он отказал институту в требовании. — Вы не должны этого делать.

— Почему?

— Это приведет к неприятностям.

— Каким неприятностям?

— Это Распоряжение правительства. Вы не можете отказать правительству.

— Почему не могу?

— Это проект высочайшей важности, к тому же секретный. Очень.

— Что это за проект такой?

— Не знаю.. Это тайна.

— Тогда откуда вы знаете, что он важный?

— Так говорят.

— Кто это говорит?

— Вы не можете сомневаться в таких вещах, мистер Риарден!

— Почему не могу?

— Просто не можете.

— Если не могу, значит, это абсолютная ценность, а вы говорили, что абсолютных понятий не существует.

— Это другое дело.

— Почему другое?

— Это правительство.

— Вы хотите сказать, что не существует абсолютных ценностей кроме правительства?

— Я хочу сказать только одно, если они утверждают, что проект важен, так и есть.

— Почему?

— Я не хочу, чтобы вы попали в беду, мистер Риарден, а вы так туда и лезете, черт возьми. Вы задаете слишком много вопросов. Почему вы это делаете?

Посмотрев на него, Риарден хохотнул. До мальчишки, наконец, дошел смысл его последних слов, и он робко улыбнулся с несчастным видом.

Человек, пришедший к Риардену спустя неделю, выглядел моложаво, но не был таким молодым и стройным, каким пытался казаться. Он носил штатский костюм и кожаные краги дорожного полицейского. Риарден так и не понял, откуда он прибыл, — из Государственного научного института или из Вашингтона.

— Я слышал, что вы отказались продать металл Государственному научному институту, мистер Риарден? — мягким, доверительным тоном начал он.

— Верно, — ответил тот.

— Не означает ли это, что вы сознательно не подчинились закону?

— Вам решать.

— Могу ли я узнать у вас причину?

— Мои причины вам не интересны.

— Безусловно, интересны! Мы вам не враги, мистер Риарден. Мы хотим быть с вами честными. Вас не должен смущать тот факт, что вы — крупный промышленник. Мы не ставим это вам в укор. Мы на самом деле хотим быть с вами столь же честными, как с последним поденным рабочим. Мы хотим знать причину вашего отказа.

— Сообщите о моем отказе в прессе, и любой читатель объяснит вам его причину. Она появилась во всех газетах уже больше года назад.

— О, нет, нет! Причем тут газеты? Разве мы не можем уладить дело по-дружески, в частном порядке?

— Как вам угодно.

— Мы не хотим, чтобы это попало в газеты.

— Не хотите?

— Нет. Мы не хотим вам повредить.

Риарден, поглядев на него исподлобья, спросил:

— Для чего Государственному научному институту десять тонн металла? Что такое проект «Икс»?

— Ах этот? Это очень важный научно-исследовательский проект, имеющий большое социальное значение, пользу от реализации ко-

торого ощутит все общество, но, к несчастью, политические соображения не позволяют мне сообщить вам его содержание в деталях.

— Знаете, — произнес Риарден, — причиной отказа я могу выдвинуть то, что не желаю продавать мой металл тем, кто держит свои цели в секрете от меня. Это металл создал я. И знать, на какие цели я позволяю его использовать — мой моральный долг.

— О, вы не должны об этом беспокоиться, мистер Риарден! Мы снимаем с вас всякую ответственность.

— Предположим, я не хочу, чтобы с меня снимали ответственность?

— Но… но это такая старомодная и… совершенно оторванная от жизни позиция.

— Я сказал, что *могу* назвать ее своей причиной. Но не стану, потому что в данном случае у меня есть другая. Я не стану продавать металл Государственному научному институту ни для какой цели, хорошей или плохой, секретной или открытой.

— Но почему?

— Послушайте, — медленно произнес Риарден. — Существуют некие оправдания для диких сообществ, в которых человеку приходится опасаться, что на него в любой момент нападут враги и убьют его, поэтому он должен защищать себя всеми возможными способами. Но не может быть оправданий для общества, в котором человек знает, что производится оружие для его собственных убийц.

— Я не считаю возможным использовать такие слова, мистер Риарден. Считаю непрактичным рассуждать в подобных выражениях. В конце концов правительство не может — из соображений всеобъемлющей национальной политики — считаться с вашим личным недоброжелательством к отдельно взятому институту.

— Тогда не считайтесь с ним.

— Что вы хотите сказать?

— Не выпытывайте у меня причин.

— Но, мистер Риарден, мы не можем себе позволить оставить без внимания отказ повиноваться закону. Вы же не ждете этого от нас?

— Делайте, что хотите.

— Это совершенно беспрецедентно. Еще никто не отказывался продавать основные товары правительству. На самом деле закон не разрешает вам отказывать в продаже металла ни одному из потребителей, не говоря уже о правительстве.

— Почему бы тогда вам не арестовать меня?

— Мистер Риарден, это всего лишь дружеская дискуссия. Зачем говорить о таких вещах, как арест?

— Разве не это ваш последний аргумент против меня?

— Зачем поднимать этот вопрос?

— Разве он не вытекает из каждой фразы нашей дискуссии?

— Зачем его называть?

— А почему бы и не назвать? — Ответа не последовало. — Вы пытаетесь скрыть от меня тот факт, что я не позволил бы вам войти к себе в кабинет, если бы не эта ваша козырная карта?

— Но я ни слова не сказал об аресте.

— Я говорю.

— Я вас не понимаю, мистер Риарден.

— Я не стану помогать вам делать вид, что у нас дружеская дискуссия. Это не так. И делайте с этим, что хотите.

На лице мужчины появилось странное выражение: замешательство, как будто он не понимал, что ему противостоит, и одновременно страх, словно он прекрасно все понимает и живет под страхом быть разоблаченным.

Риарден чувствовал странное возбуждение, как будто вот-вот поймет то, чего раньше не понимал, и словно приблизился к открытию, пока еще слишком отдаленному, но имеющему для него огромное значение.

— Мистер Риарден, — проговорил мужчина. — Правительство нуждается в вашем металле. Вы должны продать нам его, потому что вы, безусловно, понимаете, что без вашего согласия планы правительства не могут быть выполнены.

— Для продажи, — медленно произнес Риарден, — необходимо согласие продавца. — Он поднялся и подошел к окну. — Я скажу вам, что вы можете сделать.

Он указал на пути, где продукция «*Риарден-металл*» грузилась в товарные вагоны:

— Вот металл. Приезжайте сюда с вашими грузовиками — как любой другой мародер, но без риска, которым сопровождается его деятельность, потому что я не стану в вас стрелять, не могу. Заберите столько металла, сколько захотите, и убирайтесь. Не пытайтесь прислать мне плату. Я ее не приму. Не выписывайте мне чек. Его не примут в банке. Если вам нужен этот металл, у вас есть оружие, чтобы захватить его. Валяйте.

— Господи, мистер Риарден, что подумает общество!

Лицо Риардена слегка исказилось от беззвучного смеха. Они оба поняли скрытую причину этой невольной реакции. Риарден ответил ровным, веским, непринужденным тоном, словно положив конец беседе:

— Вам нужна моя помощь, чтобы все выглядело как продажа, как безопасная, справедливая, высокоморальная трансакция. Я не стану вам в этом помогать.

Мужчина не спорил. Он поднялся и сказал только:

— Вы пожалеете о том, что заняли такую позицию, мистер Риарден.

— Я так не думаю, — ответил он.

Риарден знал, что на этом дело не закончится. Он знал и то, что секретность проекта «Икс» — не главная причина, по которой эти люди боялись придать дело огласке. На сердце стало легко, он чувствовал странную, радостную уверенность в себе. Он понимал, что сделал верный шаг по пути, ведущему к неясной, но светлой цели.

* * *

Закрыв глаза, Дагни лежала в кресле в своей гостиной. День выдался тяжелый, но она знала, что вечером увидится с Хэнком Риарденом. Мысль об этом снимала с души груз бессмысленной мерзости повседневности.

Она лежала неподвижно, соединив отдых с ожиданием шороха ключа в замочной скважине. Хэнк ей не позвонил, но сегодня на конференции с производителями меди она слышала, что Риарден в Нью-Йорке, а он никогда не покидал города до следующего утра, и еще ни одной ночи в Нью-Йорке не провел без нее. Она любила дожидаться его. Этот отрезок времени служил мостиком, который соединял ее дни и ночи.

В который раз, как и во все вечера, проведенные с ним, она размышляла о том, что эти сокровенные мгновения жизни она сохранит, гордясь тем, что прожила их. Единственное, что не касалось ее трудового дня, это радость от того, что ей удалось выжить.

Это неверно, думала Дагни, это ужасно несправедливо, что некоторым больше нечего сказать обо всей своей жизни. Но она не могла думать об этом сейчас. Она размышляла о нем, его борьбе за освобождение. Она знала, что может помочь ему одержать победу, но должна делать это любыми способами, кроме слов.

Она вспоминала один вечер прошлой зимой, когда он пришел, достал из кармана маленький сверток и протянул ей со словами:

— Я хочу, чтобы он был у тебя.

Она открыла коробочку и в невероятном изумлении воззрилась на кулон — крупный рубин, сияющий яркими искрами на белом атласе ювелирной шкатулки. Владеть знаменитым камнем могли всего

несколько человек во всем мире, но ведь Хэнк не был одним из избранных.

— Хэнк… почему?

— Никакой особенной причины нет. Я просто хочу видеть, как ты его носишь.

— О нет, только не такую удивительную вещь! Зачем ей пропадать зря? Я так редко выхожу в места, для которых нужно прилично одеваться. Как я вообще смогу его носить?

Его взгляд медленно двигался по ее фигуре, от ног к лицу.

— Я тебе покажу, — ответил он.

Он отвел ее в спальню, не произнося ни слова, снял с нее одежду, как собственник, раздевающий того, чье согласие не требуется. Застегнул цепочку с кулоном на шее. Она стояла обнаженная, и камень сверкал в ложбинке груди подобно искристой капле крови.

— Ты думаешь, мужчина должен дарить своей возлюбленной драгоценности ради чего-то, кроме собственного удовольствия? — спросил он. — Я хочу, чтобы ты носила его только для меня. Мне нравится смотреть на него. Он прекрасен.

Дагни засмеялась нежным, тихим смехом. Она не могла ни двигаться, ни говорить, только кивнула молча в знак согласия и повиновения. Несколько раз наклонила голову, и ее волосы повторили плавное движение шеи, а потом замерли, окружив короной склоненное лицо.

Дагни упала на кровать. Она лежала, блаженно раскинувшись, прижав ладони к покрывалу, одна нога согнута, другая протянулась по темно-синей ткани. Камень в полутьме сиял, разбрасывая звездные лучи по ее коже.

Полузакрытые глаза лучились насмешливым и победным сознанием того, что ее обожают, но рот приоткрылся в беспомощном, молящем ожидании. Риарден стоял в центре комнаты, ловя затаенное дыхание, глядя на нее, на ее плоский впалый живот, на чувственное тело, осознающее свою власть над ним. Он произнес тихим голосом, напряженно и одновременно спокойно:

— Дагни, если бы художник нарисовал тебя такой, какова ты сейчас, мужчины стали бы приходить, чтобы посмотреть на картину и прочувствовать тот момент, который им никогда не удастся пережить в реальности. Они назвали бы ее великим искусством. Им не удалось бы понять природу своих ощущений, но рисунок показал бы им все, даже то, что ты не классическая Венера, а вице-президент железнодорожной компании; даже меня, потому что я тоже его часть. Дагни, они бы почувствовали это и ушли, чтобы переспать с первой же барменшей, попавшейся им на глаза, но ни-

когда не смогли бы достичь того чувства, которое испытали, глядя на твой портрет. Я не хочу искать чувств на картине. Я хочу реальности. Я не хочу беспочвенных желаний. Я не хочу мертворожденных стремлений. Я хочу испытывать их, иметь их, жить ими. Ты понимаешь?

— О да, Хэнк, я понимаю! — ответила она. «А ты, мой дорогой? Понимаешь ли ты это до конца?» — подумала она про себя.

Однажды, придя домой зимним вьюжным вечером, она обнаружила в своей гостиной огромный букет тропических цветов напротив темного оконного стекла, усеянного хлопьями снега. Это были стебли гавайского огненного имбиря, высотой в три фута. Лепестки его огромных конусообразных кроваво-красных цветков на ощупь напоминали нежнейшую лайку.

— Я увидел их в витрине цветочного магазина, — сказал он ей, придя в тот вечер. — Мне понравилось, как они смотрелись сквозь снежную метель. Но нет ничего более бесполезного, чем вещь в общественной витрине.

Она начала находить цветы в самых неожиданных уголках квартиры, в самые неожиданные часы, цветы, присланные без карточки, но ясно говорящие об имени дарителя своими фантастическими формами, буйными оттенками, экстравагантностью композиций. Он принес ей золотое ожерелье из крошечных, скрепленных между собой квадратиков, образующих на плечах золотой воротник, напоминающий стальную кольчугу рыцаря.

— Надень его с черным платьем, — приказал он.

Он подарил ей набор бокалов, изготовленных знаменитым ювелиром, похожих на высокие, стройные кубические кристаллы. Она залюбовалась тем, как он держит в руке приготовленное ею питье в одном из этих бокалов: словно прикосновение к поверхности хрусталя, вкус напитка и вид ее лица — единый и неразделимый момент наслаждения.

— Я привык смотреть на понравившиеся мне вещи, — произнес он, — но никогда не покупал их. Они не имели для меня значения. Теперь имеют.

Однажды зимним вечером он позвонил ей в офис и велел приказным тоном:

— Сегодня мы ужинаем вдвоем, и я хочу, чтобы ты была нарядной. Помнишь мое любимое вечернее платье? Надень его.

Она облачилась в тонкое бледно-голубое платье, придавшее ей вид беззащитной простоты, создававшее образ статуи, притаившейся в голубых тенях сада в солнечный день. Он принес и набросил ей

на плечи накидку из голубого песца, окутавшую ее от подбородка до кончиков босоножек.

— Хэнк, это нелепо, — засмеялась она. — Это совсем не моя вещь!

— Не твоя? — переспросил он, повернув ее лицом к зеркалу.

Огромное полотнище меха сделало ее похожей на ребенка, кутающегося от снежной метели. Роскошь меха превратила полностью скрытую фигуру в чувственный образ неслыханной силы.Роскошный мех с приглушенным голубым оттенком выглядел облаком, призывом. Каждый смотрящий на нее, казалось, чувствовал, не прикасаясь, волшебное потрясение при погружении пальцев в нежность меха. Накидка укрыла ее почти полностью, кроме темно-русых волос, серо-голубых глаз и четко очерченного рта.

Она обернулась к нему с испуганной и беспомощной улыбкой:

— Я… я не знала, что это будет так волшебно.

— Я знал.

Она сидела рядом с ним в машине, пока он вез ее по темным улицам города. Искрящаяся сеть снежинок вспыхивала в огнях перекрестков. Дагни не спрашивала, куда они едут. Она откинулась на спинку кресла, любуясь вальсирующими снежными хлопьями. Меховая накидка обнимала ее, платье казалось невесомым, а прикосновение меха ласкало как нежное объятие.

Она смотрела на пересекающиеся ярусы огней, вырастающие из снежной завесы. Любуясь Хэнком, его крепко сжатыми на руле пальцами, строгой элегантностью его фигуры в черном пальто и белом шарфе, она думала, что он сродни большому городу с его отполированными тротуарами и каменной скульптурой.

Машина промчалась под рекой по тоннелю, отозвавшемуся эхом, и взлетела на виток автострады, высоко взметнувшейся под распахнутым черным небом. Теперь огни оказались внизу — раскинувшиеся на многие мили голубоватые точки окон, красные сигнальные фонари высоких дымовых труб и строительных кранов, длинные туманные лучи прожекторов, вырисовывающих силуэты изломанных конструкций промышленных районов. Она вспомнила, как однажды увидела Хэнка на его заводе, с мазками сажи на лбу, в прожженном кислотой комбинезоне, который он носил с той же непринужденностью, что и официальный костюм. «Он и заводу сродни, — подумала она, глядя вниз на просторы Нью-Джерси, — с его кранами, огнями и скрежетом работающих механизмов».

Когда они летели по дороге через пустынную загородную местность и снежинки сверкали в лучах фар, ей припомнилось, как он выглядел летом, когда они поехали отдыхать: раскинувшийся

на траве, в укромной лощине, освещенной солнцем. Он и к природе близок, подумала она, он принадлежит всему, он — человек Земли. Потом она нашла ему более точное определение: он — человек, которому *принадлежит* Земля, человек, который на Земле — дома. Почему же, размышляла она, он с молчаливым долготерпением должен нести бремя трагедии, которое принял на себя, порой забывая, какой груз давит ему на плечи? Она знала только часть ответа. Ей казалось, что еще немного, и в один прекрасный день, очень скоро, все прояснится окончательно. Но сейчас ей не хотелось думать об этом, потому что они уносились все дальше, прочь от тяжелой ноши, потому что в замкнутом пространстве летящей машины они чувствовали себя умиротворенными и абсолютно счастливыми. Поддавшись порыву, она быстро коснулась лбом его плеча.

Автомобиль съехал с автострады и свернул к квадрату освещенных окон, сиявших за снежными сугробами, сквозь скрещения голых ветвей. Там, в мягком приглушенном свете, они присели за стол у окна, обращенного во тьму и чащу деревьев. Гостиница расположилась на холмике посреди леса, роскошная, дорогая и уединенная, с изысканной обстановкой, обещавшей постояльцам, что здесь их не найдут те, кто гонится за публичностью. Дагни скользнула взглядом по гостиной, потонувшей в уюте и комфорте; заиндевевшим ветвям, искрившимся за оконным стеклом.

Голубоватый мех почти спал с ее обнаженных плеч. Хэнк, прищурясь, рассматривал ее с удовлетворением скульптора, изучающего свое творение.

— Я люблю делать тебе подарки, — объяснил он, — потому что они тебе не нужны.

— Не нужны?

— Но я хочу их дарить не потому, что они не нужны. А потому, что ты получила их от меня.

— Они мне нужны, Хэнк, потому что они — от тебя.

— Ты понимаешь, что я просто потакаю своим желаниям? Я делаю подарки не для твоего, а для собственного удовольствия.

— Хэнк! — В ее непроизвольном возгласе слышались веселое удивление, отчаяние, негодование и сожаление. — Если бы ты дарил мне вещи для *моего* удовольствия, а не для твоего, я бросила бы их тебе в лицо.

— Да… Да, так бы ты и поступила.

— Ты это называешь потаканием своим порочным желаниям?

— Именно так это называется.

— О да! *Так это называется*. Что ты имеешь в виду, Хэнк?

— Не знаю, — безразлично ответил он. — Знаю только, что это — порочно, можешь меня проклинать, но мне так нравится.

Она не ответила, глядя на него с легкой улыбкой, словно заставляя вдуматься в сказанное.

— Я всегда хотел наслаждаться своим богатством, — продолжил он. — Но не знал, как. У меня даже времени не было, чтобы понять, насколько сильно я этого хочу. Знаю только, вся сталь, что я выплавил, возвратилась ко мне, словно жидкое золото, которое я могу по своему желанию отливать в любую форму, и именно я, а никто другой, должен им наслаждаться. Но я не мог. Не умел найти ему применения. Теперь я его нашел. Я заработал это богатство, и собираюсь заставить его приносить мне любое наслаждение, какое пожелаю, в том числе удовольствие представить, как много я могу за это заплатить. Включая бессмысленное искусство превращать тебя в объект роскоши.

— Но я — объект роскоши, за который ты заплатил давным-давно, — она не улыбалась.

— Каким образом?

— Так же, как ты заплатил за свои заводы.

Дагни не знала, смогла ли она передать словами всю полноту своей мысли; но почувствовала, что он ее понимает. Увидела, как его взгляд подобрел от скрытой улыбки.

— Я никогда не презирал роскошь, — признался он. — Но презирал тех, кто ею наслаждается. Я смотрел на то, что они считали удовольствием, и оно казалось мне таким ничтожным и лишенным смысла, особенно после того, что я пережил на заводах. Я видел, как разливают сталь, тонны жидкого металла, подвластные мне. А потом приходил на банкет и наблюдал, как люди дрожали, благоговея, над золотыми тарелками и кружевными скатертями, словно их гостиная была их хозяином, а они — всего лишь ее слугами, пусть в бриллиантовые запонках и колье. Тогда я торопился отыскать глазами первую попавшуюся кучу шлака, а мне говорили, что я не умею наслаждаться жизнью, потому что не желаю знать ничего, кроме бизнеса.

Риарден окинул взглядом сумрачную красоту комнаты и людей, сидевших за столами. Они неприкрыто выставляли себя напоказ, словно ожидали, что непомерно дорогая одежда и тысячи, вложенные в уход за их холеными телами, придадут им неотразимость, но все было иначе. Их лица отражали лишь озлобленность и тревогу.

— Взгляни на этих людей, Дагни. Их считают плейбоями, искателями наслаждений и любителями роскоши. Они сидят здесь, ожидая, что это место придаст им значительности. Но мы видим в них лишь

рабов материальных удовольствий и понимаем, что наслаждение материальными удовольствиями — зло. Наслаждение? Разве они наслаждаются? Нет ли в том, чему нас учили, извращения, ошибки, порочной и даже фатальной?

— Да, Хэнк, определенно есть.

— Они плейбои, а мы всего лишь ремесленники, ты и я. Понимаешь ли ты, что мы способны получить такое удовольствие от этого ресторана, о каком они могут только мечтать?

— Да.

Он произнес с расстановкой, будто цитируя:

— Зачем мы оставили все это дуракам? Это должно принадлежать нам. — Она испуганно взглянула на него. Риарден улыбался: — Я помню каждое твое слово на той вечеринке. Тогда я промолчал, потому что единственным ответом на твои слова было: «Я хочу тебя». — Он посмотрел на нее. — Дагни, тогда ты этого не произнесла, но твои слова означали, что ты хочешь со мной спать, не так ли?

— Да, Хэнк. Конечно.

Выдержав ее взгляд, он отвел глаза. Они долго молчали. Он рассматривал освещенную мягким полусветом гостиную, искрящееся в бокалах вино.

— Дагни, в юности, когда я работал на руднике в Миннесоте, я мечтал о таком вечере, как сегодняшний. Нет, я работал не ради него и не слишком часто думал о нем. Но время от времени зимними ночами, когда звезды мерцали в холодном небе, когда я изматывался, потому что работал по две смены, и мечтал только о том, чтобы поскорее лечь и заснуть, прямо в шахте на куче породы, я думал, что придет день, когда я буду сидеть в зале вроде этого, где стакан выпивки стоит больше моей дневной зарплаты, и каждая минута здесь, каждая капля вина и каждый цветок на столе будут заслужены мной, и я буду сидеть здесь просто так, для собственного удовольствия.

Улыбнувшись, она спросила:

— Со своей любовницей?

Она увидела в его глазах мелькнувшую боль и пожалела о своих словах.

— Со своей… любимой, — ответил он. Она догадалась, какое слово он не произнес. Мягким ровным голосом он продолжил: — Когда я разбогател и увидел, *что* богатые делают ради своего развлечения, я подумал, что места, которое я воображал, не существует. Я даже не смог бы отчетливо представить его себе. Не имел понятия, на что оно похоже, просто знал, что буду чувствовать в этот момент. Довольно давно я перестал надеяться. Но сегодня я переживаю именно то, о чем мечтал.

Риарден поднял бокал, глядя на Дагни.

— Хэнк, я… я отказалась бы от всего на свете, кроме одного, — быть… объектом роскоши для твоего удовольствия.

Он увидел, что пальцы, которыми она держит бокал, дрожат. И сказал просто:

— Я знаю это, любимая.

Она застыла: он никогда еще не называл ее этим словом. Откинув голову, он улыбнулся своей самой ослепительной улыбкой.

— Впервые ты дала слабину, Дагни, — сказал Риарден.

Тряхнув головой, она рассмеялась. Он протянул через стол руку и накрыл ладонью ее обнаженное плечо, словно предлагая поддержку. С ласковым смехом, как будто ненароком, она коснулась губами его пальцев и опустила голову, чтобы он не заметил, что в ее глазах сверкают слезы.

Подняв голову, она одарила его ответной улыбкой, и весь вечер превратился в их торжество, реванш за все его ночи в рудных шахтах, за все годы, миновавшие со дня ее первого бала, когда, скрывая одиночество под маской веселости, она размышляла о людях, надеявшихся, что огни и цветы придадут им величие.

«*Нет ли в том, чему нас учили, извращения, ошибки, порочной и даже фатальной*?» — эти его слова она обдумывала, полулежа в кресле в своей гостиной унылым весенним вечером, ожидая его прихода. «Еще, дорогой, — думала она, — еще немного, и ты освободишься от этой ошибки и от той ненужной боли, которую ты не должен носить в себе…» Но она чувствовала, что и сама не видит пока *всего* пути, и не может знать, какие шаги ей осталось совершить.

Шагая по темным улицам к дому Дагни, Риарден засунул руки в карманы, крепко прижав ладони к бокам, потому что не хотел ни к кому прикасаться, даже случайно. Он никогда прежде не испытывал такого чувства — отвращения, которое не было вызвано чем-то конкретным, а просто затопило весь город. Он мог бы понять неприязнь к чему-то конкретному и мог бы побороться с этим, уверенный, что оно не относится к реальному миру. Но чувство, что весь мир — тошнотворное место, которому он не хочет принадлежать, было новым для него.

Он провел совещание с производителями меди, повязанными по рукам и ногам кучей директив, ставших реальной угрозой их существованию в грядущем году. Ему нечего было им посоветовать, он не мог предложить решения проблемы. Изобретательность, принесшая ему славу человека, который всегда находит способ не останавливать свои прокатные станы, не помогла отыскать путь к спасению производителей меди. Все они понимали, что такого пути не существует,

ведь изобретательность — свойство ума, а при сложившихся обстоятельствах разум давно уже стал бесполезным.

— Это дело рук парней в Вашингтоне и импортеров меди, — сказал один. — В основном компании «*Д'Анкония Коппер*».

«Еще один маленький, противный укол боли, — подумал он, — чувство обманутого ожидания, на которое он не имеет права». Риардену полагалось знать, что это может совершить только такой человек, как Франсиско д'Анкония, и ему было горько, что где-то в мрачном мире погас еще один яркий огонек.

Он не мог разобраться, породила ли эту всепоглощающую тошнотворность невозможность действовать или, наоборот, тошнотворность лишила его желания действовать. И то и другое справедливо, решил он. Желание действия предполагает возможность действий; действие предполагает цель, которая стоит того, чтобы ее добиваться. Если единственная цель — пресмыкаться перед всякими мафиози ради сомнительного преимущества, тогда желание действовать просто пропадает.

«А может ли продолжаться жизнь? — равнодушно спрашивал он себя. — Суть жизни, — думал он, — состоит в движении; жизнь человека — движение к цели. Каково положение человека, у которого отбирают и движение, и цель; человека, закованного в цепи: ему позволено только дышать и бессильно созерцать те огромные возможности, какие он мог бы реализовать? Человека, которому позволено только кричать "Почему???" и в качестве единственного объяснения видеть ружейный ствол, направленный ему в лицо?» Он на ходу пожал плечами, ответа ему даже искать не хотелось.

Риарден равнодушно взирал на опустошение, порожденное его собственным равнодушием. Несмотря на то, какую тяжелую борьбу пришлось ему выдержать в прошлом, он никогда не приходил к мерзкому отрицанию желания действовать. В моменты страданий он не позволял боли одержать победу: он никогда не позволял себе утратить стремление к радости. Он никогда не сомневался в предназначении мира и в величии человека, как его смысла и главной движущей силы. Много лет назад он с высокомерным пренебрежением думал о сектах фанатиков, возникавших в темных уголках истории, сектах, веривших в то, что человек оказался в ловушке недоброй Вселенной, где правит зло; оказался с единственной целью — подвергать себя мукам. Сегодня он понимал их восприятие мира, понимал, каким они хотели бы его видеть. Если то, что вокруг него, — мир, в котором он живет, то он не хочет касаться ни одной из его граней, не хочет бороться с ним. Он — посторонний, у которого больше ничего нет за душой, и не осталось интереса к жизни.

Дагни… желание быть с ней осталось единственным исключением.

И тяга эта не проходила. И вдруг — шок. Он понял, что сегодня не хочет спать с Дагни. Желание, не дававшее ему ни минуты покоя, постоянно нараставшее, подпитываясь уже самим своим существованием, стерлось. Странная импотенция, не от ума, и не от тела. Он, как всегда, страстно веровал, что она — самая желанная женщина на свете. Но из этого чувства родилось только *желание желать* ее, *стремление* чувствовать, но не *само* чувство. Оцепенение казалось безличным, будто коренилось не в нем и не в ней, словно секс принадлежал теперь тому миру, который Риарден покинул.

— Не вставай, останься в кресле. Ведь ты ожидала меня, я знаю, вот и хочу еще немного на тебя посмотреть.

Он произнес это, стоя на пороге квартиры Дагни, глядя на ее фигуру в кресле, на то, как радостно подались вперед ее плечи, когда она хотела подняться, и улыбнулся.

Он заметил — словно кто-то внутри него с отстраненным любопытством наблюдал за его реакциями, — что улыбка и внезапная радость его искренни. Он поймал себя на некоем чувстве, которое всегда испытывал, но никогда не мог определить, назвать, поскольку было оно и постоянным, и мгновенным: чувстве, *запрещавшем* ему видеть ее в моменты боли. Это было больше чем желание скрывать свои страдания из гордости. Риарден понимал, что нельзя выставлять свои переживания напоказ, чтобы ни одна новая нить, связующая их, никогда не была рождена болью или жалостью. Его привела сюда не жалость, и не за жалостью он пришел.

— Тебе все еще нужны доказательства того, что я всегда жду тебя? — она послушно осталась в кресле. В голосе не слышалось ни нежности, ни мольбы, только радость и игривость.

— Дагни, почему ты единственная женщина, которая в этом признается?

— Потому что другие женщины не уверены в том, что они желанны. Я уверена.

— Мне нравится твоя самоуверенность.

— Уверенность в себе — только часть того, о чем я говорю, Хэнк.

— А что остальное?

— Уверенность в моей ценности и в твоей.

Риарден глянул на нее, словно у него в голове мелькнула какая-то мысль, и она добавила, засмеявшись: — Я не могла бы быть уверенной, что удержу человека вроде Оррена Бойля, например. Он может вообще меня не захотеть. А тебе я нужна.

— Ты хочешь сказать, — медленно проговорил он, — что я вырос в твоих глазах, когда ты обнаружила, что ты мне нужна?

— Конечно.

— Это не похоже на реакцию большинства людей, которые хотят, чтобы их желали.

— Не похоже.

— Большинство людей вырастают в *собственных* глазах, если другие их желают.

— Я чувствую, что другие вырастают в моих глазах, если они меня любят. Именно так думаешь и ты, Хэнк, признаешься ли ты сейчас в этом или нет.

Совсем не это я сказал тебе тогда, нашим первым утром, подумал Риарден, глядя на нее. Она потянулась к нему; лицо оставалось спокойным, но в глазах искрилось веселье. Он знал, что она думает о том же и понимает, что и он об этом думает. Он улыбнулся, но ничего не сказал.

Он тоже опустился в кресло, глядя на нее через всю комнату, ощущая покой, как будто между ним и теми мыслями, что мучали его по дороге к Дагни, выросла защитная стена. Он рассказал ей о своей встрече с человеком из Государственного научного института, потому что, хотя и чувствовал в том разговоре опасность, странное чувство удовлетворения не покидало его.

Он посмеялся над ее возмущенным видом.

— Не стоит на них сердиться, — успокоил он Дагни. — Они каждый день совершают вещи и похуже.

— Хэнк, хочешь, я поговорю с доктором Стэдлером?

— Конечно, нет!

— Он должен прекратить это. По крайней мере он может.

— Я лучше сяду в тюрьму. Доктор Стэдлер? У тебя с ним ничего нет, правда?

— Я видела его несколько дней назад.

— Зачем?

— В связи с мотором.

— Мотор? — медленно проговорил он странным тоном, словно мысль о моторе внезапно вернула его в забытый мир. — Дагни… человек, создавший этот мотор… он существует?

— Ну… конечно. Что ты имеешь в виду?

— Я имею в виду только… приятная мысль, правда? Если даже он уже умер, то раньше был жив… жив настолько, что сконструировал мотор…

— В чем дело, Хэнк?

— Ни в чем. Расскажи мне про мотор.

Дагни рассказала ему о своей встрече с доктором Стэдлером. Поднявшись, она стала ходить по комнате. Дагни не могла сидеть спокойно, она всегда чувствовала прилив надежды и желание действовать, когда речь заходила о моторе.

Он смотрел на огни города за окном. Ему хотелось, чтобы они загорались один за другим, образуя огромную линию горизонта, которая ему нравилась. Он хотел этого, хоть и понимал, что огни горели и раньше. Потом его снова посетила мысль, сидевшая глубоко внутри: к нему мало-помалу возвращалась любовь к городу. Он чувствовал это, смотря на город, что раскинулся позади стройной фигуры женщины, приподнявшей голову, словно она старалась разглядеть вдалеке кого-то, чьи неустанные шаги заменяли ей полет. Риарден любовался ею как посторонний, он почти забыл, что она — женщина, но ее образ воплотился в чувство, соответствовавшее словам: «Вот это — мир, самая суть его, вот что создало город». Они слились воедино — угловатые линии зданий и упрямые линии лица, которое не выражало ничего, кроме целеустремленности; ступенчато вздымающаяся сталь и настойчивые шаги к цели. Все люди, создающие огни, сталь, котлы, моторы, они и есть этот мир, они, а не те, кто прячутся по темным углам, то ли упрашивая, то ли угрожая, хвастливо демонстрируя свои открытые раны, как единственную добродетель и право на жизнь. Риарден знал, что есть на свете человек, дерзнувший на новую мысль. Может ли он оставить этот мир на тех, других людей? Теперь, когда он увидел то, что наполнило его жизнеутверждающим восхищением, сможет ли он поверить в мир, принадлежащий страданиям, стонам и оружию? Человек, создавший мотор, существовал, он никогда не сомневался в его реальности, сделавшей контраст невыносимым. Даже отвращение стало выражением его лояльности по отношению к нему и к тому миру, который принадлежал ему и Риардену.

— Милая… — произнес он, — милая… — словно только что проснулся, когда заметил, что Дагни умолкла.

— Что такое, Хэнк? — мягко спросила она.

— Ничего… Кроме того, что тебе не следовало звонить Стэдлеру. — Выражение его лица говорило о доверии, голос звучал радостно, успокаивающе и нежно. Больше она ничего не могла заметить, он выглядел как обычно, и только отчетливая нотка нежности казалась странной и новой.

— Я чувствую, что не следовало, — согласилась она. — Но не понимаю, почему.

— Я объясню тебе, — он подался вперед. — С твоей помощью он хотел удостовериться, что он по-прежнему тот же доктор Роберт Стэд-

лер, каким был прежде, хоть и понимает, что больше им не является. Он хотел, чтобы, вопреки его поступкам, ты отнеслась к нему с уважением. Он хотел, чтобы ты сфальсифицировала для него реальность, словно его величие сохранилось. Но Государственный научный институт будет сметен с лица земли, словно его и не было. А ты — единственная, кто может сделать это для него.

— Почему я?

— Потому что ты — жертва.

Она изумленно воззрилась на него. Он говорил уверенно, ощутив неожиданную, жестокую ясность, словно в его взор ворвалась новая энергия, сливая неразличимое и непонятое в единый образ, в единое направление.

— Дагни, они творят нечто, нам непонятное. Они знают что-то, чего не знаем мы, но мы должны это узнать. Я пока не понимаю всего, но начинаю различать части единого целого. Этот мошенник из Государственного научного института испугался, когда я отказался помогать ему притвориться честным покупателем моего металла. Он очень сильно испугался. Чего? Того, что он назвал общественным мнением? Нет, это не совсем подходящее название. Почему он должен был испугаться? У него есть оружие, тюрьмы, законы, он мог захватить все мое литейное производство, если бы захотел, и никто не встал бы на мою защиту, и он знает это. Так почему он должен был опасаться, что я подумаю об этом? Но он испугался.

Он ждал, что это я стану убеждать его, что он не мошенник, а мой клиент и друг. Именно этого он ожидал от меня. Того же ждал от тебя и доктор Стэдлер: ты должна была вести себя так, словно он великий человек, и словно он никогда не пытался разрушить твою железную дорогу и мои металлургические заводы. Я не знаю пока цели, которой они добиваются, знаю только, они хотят, чтобы мы притворялись, будто видим мир таким, каким он является с их точки зрения. Они ждут от нас неких санкций. Я пока не знаю, каких именно, но, Дагни, я понимаю, что если нам дороги наши жизни, мы не должны давать им этих санкций. Даже если они подвесят тебя на дыбе, не сдавайся. Пусть они разрушат твою железную дорогу и мои заводы, не сдавайся им. Я уверен, это наш последний шанс на спасение.

Дагни по-прежнему неподвижно стояла перед ним, пристально вглядываясь в едва вырисовывающийся образ, который она силилась понять.

— Да… — сказала она, — да, я понимаю, *что* ты в них увидел… Я тоже чувствовала это, только оно промелькнуло неуловимо, словно струя холодного воздуха. Осталось только чувство, близкое к уверенности: я должна их остановить… Я знаю, ты прав. Я не могу понять,

что за игру они ведут, но ты прав… Мы не должны видеть мир таким, каким они хотят заставить нас его видеть. Это какой-то обман, очень древний и чудовищно огромный, и способ его разрушить — понимать каждое их намерение, изучать каждое предписание…

Она резко повернулась к нему под влиянием внезапной мысли, но прервала движение вместе со словами, боясь, что произнесет то, о чем пока не хочет ему говорить. Молча смотрела на него с широкой вопросительной улыбкой.

У него зародилось понимание мысли, пока не высказанной ею до конца, но в таком зачаточном состоянии, что мысли этой еще только предстояло стать словами. Риарден не стал на ней сосредоточиваться, потому что ее сменило новое ослепительное чувство — оно захватило, и еще долго не отпускало его. Он поднялся, подошел и крепко обнял Дагни, их тела словно превратились в два потока, устремившихся друг к другу, чтобы слиться воедино в одной точке — их соприкоснувшихся губах.

В тот момент, когда он обнимал ее, Дагни, стоя посреди комнаты высоко над огнями большого города, наслаждалась красотой его фигуры, отражавшейся в окне.

Риарден знал, что сегодня вечером любовь к жизни вновь вернулась к нему не с возрождением страстного желания к Дагни. Наоборот, страстное желание вернулось к нему после того, как он вновь обрел свой мир, осознал его ценность и смысл. Влечение возникло не как ответ на призыв ее тела, а как торжество его воли к жизни.

Он не сознавал этого, не думал об этом, необходимость в словах отпала. Но в тот момент, когда он почувствовал ответ ее тела, ему явилось спокойное, *естественное* понимание, что он считал ее греховностью то, что на самом деле является ее высшей добродетелью — способность ощущать радость существования так же, как ощущал ее он сам.